

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ

Декабрь 1855 и январь 1856 года.

Читатели, без сомнения, ожидают от нас мнения о новом журнале, основание которого возбудило в публике надежду, что русская литература будет иметь одним хорошим периодическим изданием больше, нежели имела в предыдущие годы; и мы, конечно, замедлили бы исполнением своей обязанности перед читателями, если бы не поспешили отдать им отчет о впечатлении, которое произвели на публику первые книжки «Русского вестника». Составлять решительное мнение о характере нового издания по двум первым его номерам было бы преждевременно. Этого еще не сделала публика, не будем делать и мы. Надобно дать журналу срок более продолжительный, нежели один месяц, чтобы совершенно установиться, вполне определительным образом выразить свое направление, показать, какими силами он обладает в своих постоянных сотрудниках, чем хочет и чем может быть. Это отсрочка, всегда справедливая, тем необходимее в настоящем случае, что первые книжки «Русского вестника» не содержат статей, которые могли бы назваться прокламациями принципов и надежд журнала.

Начнем с внешности. Формат журнала, близкий к формату «Отечественных записок» и «Современника», красив; бумага хороша; шрифт так называемый «тонкий». Вообще, наружность журнала недурна.

Программу «Русского вестника» читатели знают по объявлениям, и нам нет нужды повторять ее здесь. Журнал считает у себя два отдела: в первом, не имеющем особенного названия, помещаются беллетристика, большие статьи ученого и критического содержания. Второй отдел, под именем «Современной летописи», содержит «политическое» и «учено-литературное» обозрение и «театральные заметки». Третьим отделом можно считать «Приложение», определенное для перевода иностранных романов.

Первая книжка, очень выгодным для журнала образом, открывается неизданным отрывком из IX главы первого тома

«Мертвых душ». Это первоначальная редакция рассказов о распросах со стороны чиновников города N у Коробочки и Собакевича относительно загадочной личности и намерений Чичикова. Сами по себе, страницы этого отрывка своим достоинством не совершенно соответствуют другим страницам поэмы, и Гоголь, с своим тонким вкусом, вероятно, заметил, что довольно подробные сцены, первоначально им написанные, содержат как бы повторение тех положений и описаний, которые уже даны читателю в предыдущих главах, и потому значительно сократил этот эпизод в окончательной редакции (стр. 372—374 нового издания), отбросив все черты, уже достаточно раскрытые в других сценах. Сравнение отброшенного автором и напечатанного ныне отрывка с соответствующими местами «Мертвых душ» интересно для того, кто хочет удостовериться, как строг сделался Гоголь к себе после издания «Ревизора».

Замечательна также именем своего автора статья, которою открывается вторая книжка: это — «Об Океании и ее жителях», покойного Т. Н. Грановского, — лекция, записанная с его слов в 1852 году и поправленная автором. После прекрасных и в высокой степени справедливых воспоминаний о Грановском, написанных многими из ближайших друзей его, нам нет нужды говорить о том, какое сильное и благотворное влияние имел Грановский на нашу литературу, на утверждение любви ко всему доброму и прекрасному во всех, кто знал его; а большая часть тех молодых ученых и литераторов, имена которых мы все произносим с уважением, принадлежала к этому числу. Нет надобности говорить, как много содействовали его лекции развитию нескольких поколений воспитанников Московского университета, славою и гордостью которого был он в последнее время, хотя желал быть только полезным, отказавшись от славы. Он знал, что ученая слава у нас, еще так мало привыкших отличать ученость от гелертерства, скорее всего достигается выказыванием мелочных сведений и сухого пристрастия к мелочным вопросам. Но он слишком горячо любил науку и литературу, слишком ревностно стремился быть истинно полезным нашему просвещению и обществу, чтобы заботиться лично о себе. Он слишком живо сознавал, что у нас нужнее двигатели просвещения, любви к благу и истине, посредники между наукою и нами, нежели люди, обращающие свои силы преимущественно на разработку второстепенных вопросов науки, и не хотел своей личной ученой славе принести того, к чему чувствовал призвание, в чем находил истинную пользу для науки у нас в настоящее время. Но добрая слава пришла к нему и дала ему, скромному, самоотверженному подвижнику добра, одно из первых мест в истории русского просвещения во второй четверти XIX века.

С этой точки зрения, объясняющей всю деятельность Грановского, надобно смотреть и на немногочисленные сочинения, им изданные. Они — отрывки из его лекций или разговор с друзьями,

и сохраняют характер, который имели его лекции, то есть характер истинной, высокой учености, без тех внешних, формалистических прикрас гелертерства, которые, будучи вредными для публики по своей утомительности, смешны и жалки для истинно ученых ценителей по своей научной малоценности или плоскости, но кажутся важны и ослепительны для полу-ученых дилетантов и бездарных гелертеров. Но публика оценила по достоинству свежесть мысли и увлекательность изложения в статьях Грановского, и истинно ученые люди видели в них высокую самостоятельность и верность основных воззрений, полную ответственность обширного и глубокого знания с самыми строгими требованиями истинно ученой критики, которым могут удовлетворять знаниями своими лишь немногие люди, стоящие во главе науки. Они знают, что если бы Грановский был французом или англичанином, то мог бы стоять наряду с первыми современными историками. Но он был русский и сознательно действовал в духе своего положения, сообразно потребностям своей родины. Во Франции Грановский был бы Огюстеном Тьерри; на кафедре русского университета Огюстен Тьерри был бы Грановским.

«Русский вестник», основание которого тесно связано с воспоминаниями о Грановском, исполняет свою прямую обязанность, обещаясь сообщать публике «выдержки из его лекций, записанных его слушателями», и чем полней сдержит он это обещание, тем более заслужит признательности от публики. Желаем видеть в нем десятки тех лекций, первую из которых является «Чтение об Океании и ее жителях». Это сжатое, быстрое, чрезвычайно популярное по изложению, но глубокое по научному достоинству обозрение результатов научных исследований о происхождении, истории быта океанийских островитян до прибытия европейцев, их положении в то время, влиянии, которое имеет на них соприкосновение с европейцами. Тут нет щегольства ученостью; но, читая каждую страницу, вы чувствуете, что она плод глубокого изучения, что автором прочитаны сотни книг по этому предмету, соображены и приведены к истинному значению тысячи фактов, десятки мнений, и все подчинено мысли проницательной и самостоятельной. И следствие всего этого сообщение читателю взгляда на предмет столь же простого, как и глубокомысленного, столь же нового, как и справедливого, и возведение частного вопроса о судьбе Океании к общему вопросу о цивилизации. Если бы подобных статей являлось у нас больше, быстро подвигалась бы вперед наша образованность.

Кроме комедии г. Островского, о которой мы будем подробнее говорить впоследствии, помещена в «Русском вестнике» довольно большая повесть г-жи Евгении Тур: «Старушка». Она может иметь свои недостатки, но не принадлежит к числу слабейших произведений этой писательницы, хотя не идет в разряд с первыми и лучшими. В приложении переводится английский роман «Не-

вестка». Упомянем в нескольких словах и об ученых статьях «Русского вестника». «Древняя Русь» г. Соловьева излагает общий взгляд ученого исследователя на весь исторический ход развития общественной и умственной жизни русского народа. Это — хорошее извлечение существенных мыслей из многочисленных его сочинений. Первая статья г. Кудрявцева о «Карле V» читается с пользою и удовольствием. Г. Кудрявцев имеет предметом объяснить русским читателям странную решимость Карла V оставить престол и рассказать последние годы его жизни, проведенные в монастыре, — факты, поразительные своею загадочною оригинальностью и удовлетворительно объясненные только в последнее время изданием новых актов и, по поводу их, нескольких хороших монографий. Мы уверены, что и следующие статьи будут так же хороши, как первая. Две статьи г. Каткова «О Пушкине», повидимому, составляют введение к очень полному разбору творений Пушкина. Надобно ожидать дальнейшего развития мнений автора, чтобы точным образом характеризовать дух этих статей. — С большим удовольствием увидели мы во второй книжке перевод статьи Маколея о войне за наследство испанского престола. Говоря о достоинствах Маколея, одного из первых между современными историками, значило бы говорить то, в чем убежден каждый читатель.

Из четырех помещенных в № 2 стихотворений нам понравились пьесы г. Н. Огарева «Первая любовь» и «Кокетке». Публике, вероятно, приятно встретиться с поэтом, который так мало печатал в последние годы. Из остальных стихотворений одно принадлежит г. К. Аксакову, другое г. М. Дмитриеву.

«Политическое обозрение», без сомнения, будет иметь интерес для многих читателей «Русского вестника».

«Учено-литературное обозрение» будет, повидимому, вместе с известиями о различных новых открытиях, постоянно содержать отчеты о замечательных русских книгах и по некоторым отраслям знания будет иметь с сотрудниками известных специалистов. Так, в первой книжке находим довольно большой и связный обзор новейших трудов по части прежней археологии, написанный г. Леонтьевым; по русской археологии и в той и в другой книжках подобные же обзоры, написанные г. Буслаевым. Если с несомненною основательностью таких статей будет постоянно соединяться осторожность говорить только о предметах общеинтересных, избегая мелочей, занимающих только немногих читателей, этот отдел, конечно, будет увеличивать достоинство журнала.

Простимся на время с новым нашим сотоварищем по литературе, повторяя высказанное уже нами при первом известии о нем желание ему успеха и с удовольствием прибавляя, что, по всей вероятности, успех его будет и оправдан и упрочен его благородным направлением и литературными достоинствами.

Февраль 1856 года.

«Московитянин», долго медливший объявлением о том, что будет продолжаться в следующем году, порадовал нас, известив своих читателей, что не намерен прекращать своего существования, бывшего и остающегося не бесполезным для русской литературы. Вместе с объявлением о предполагаемом продолжении своего журнала в наступившем году, г. Погодин выдал 19 и 20 номера (в одной книжке) его за прошедший год. Кроме «Крымских писем» г. Берга и двух сцен из «Мессинской невесты» Шиллера, переведенных г. Ф. Миллером, заметим в этой (октябрьской) книжке «Москвитянина» интересную статью г. Костомарова: «Иван Свирговский, украинский гетман XVI века». Впрочем, мы заговорили об октябрьском двойном номере «Москвитянина» не ради этих статей, а потому, что г. Погодин обогатил его истинною драгоценностью для каждого интересующегося русскою литературою: письмами, полученными им от Гоголя с 1832 по 1840 год. Из корреспонденции Гоголя, вообще интересной, не было еще обнаружено ничего столь важного, как эти письма. Они чрезвычайно во многом поясняют нам и обстоятельства жизни, и самый характер Гоголя, и по справедливости должны быть причислены к самым капитальным материалам для его биографии, даже для составления верного взгляда на некоторые места его сочинений, до сих пор остающиеся загадочными. Здесь не место вдаваться в отрывочные замечания и мелочные исследования. Скажем только два-три слова о впечатлении, которое производят эти письма, и поспешим поделиться с читателем любопытнейшими отрывками. Мы всегда были того мнения, что Гоголь, казавшийся большинству людей, видевших его в обществе, человеком сухим и т. п., был наделен натурою кипучею, пламенною. Только из такой натуры могли родиться его творения. В письмах, ныне напечатанных, все дышит движением, порывом, все горит огнем. Этого убеждения довольно, чтобы понять если не все, то почти все странности в его поступках, поражавшие многих до того, что иные хотели приписывать их болезни, другие — какому-то эгоистическому расчету. Последнее предположение, признаемся, всегда возмущало нас, как несообразное ни с понятием о впечатлительности характера, без которой невозможно жизненное направление, ни с высоким благородством души, без которого также невозможно было бы создать «Ревизора» и «Мертвые души». Кто неспособен понимать, что такое страстная натура, тот никогда не поймет Гоголя. Впрочем, для него это и не будет горем, потому что и творения Гоголя для такого человека — книга с семью печатями, а имя автора этой книги — пустой звук. При страстной натуре неизбежны увлечения и ошибки; но и в самых увлечениях отчасти она чиста и в самых ошибках возвышенна и симпатична. Раннею мечтою Гоголя была жажда славы, и жажда, не утолявшаяся не только достижением

посредственного успеха, — нет, не удовлетворявшаяся никаким успехом. Люди с мелочным самолюбием не поймут этого, но без неутолимости, ненасытности жажды нет истинной жажды славы. Такое славолюбие дается самою натурою: его не сообщат ни похвалы, ни успехи, если оно не пожирало душу раньше всяких похвал и успехов. Гоголь был одарен этим орлиным стремлением к неизмеримой высоте: ему все казалось мало и низко, чего достигал он или что создавал он. Кого из мелких людей, кого даже из очень даровитых юношей не удовлетворил бы громадный успех первого произведения, какой имели «Вечера на хуторе»? Кто не порадовался бы на свое первое произведение, удостоившееся столь громких похвал от «великого» Пушкина? Гоголь, двадцатитрехлетний юноша, писал в 1833 году:

Вы спрашиваете об Вечерах Диканьских. Чорт с ними! я не издаю их. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, — но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекулятивными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Впрочем, Смирдин отпечатал полтораста экземпляров 1-ой части, потому что второй у него не покупали без первой. Я и рад, что больше. Да обречутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня.

Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается. Пожалейте обо мне и пожелайте мне!

Обнимая и целуя вас, остаюсь ваш Гоголь.

Февраля 20-го

Я не знаю, отчего на меня нашла тоска. Корректурный листок выпал из рук моих, и я остановил печатание. Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу из Истории, уже вижу собственные недостатки. То жалею, что не взял шире, огромней объема. То вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один друг. Но не могу, не в силах. Чорт поберн пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на-днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради; и сколько злости, смеху, соли!.. Но вдруг остановился... А что из того, когда пьеса не будет играть. Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу не конченное произведение? — Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный... Но что комедия без правды и злости? И так за комедию не могу приняться. Примусь за Историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент; рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскалывают зубы, и — История к чорту. — И вот почему я сижу при лени мыслей.

Укажите мне человека с такою жаждою совершенства, и я вам скажу: он или не создаст ничего, или создаст нечто великое, он

иди Тантал, или Прометей. Через пять лет, он, уже творец «Ревизора», говорил:

1838 г. Август 20. Неаполь.

У меня забилось сердце, когда я прочитал твою записку, где ты говоришь, что будущую весною будешь в Италии. И так мы увидимся. Обнимемся может быть еще раз. Благодарю тебя за это. О себе ничего не могу (сказать) слишком утешительного. Увы, здоровье мое плохо! И гордые мои замыслы... О друг! если бы мне на четыре, пять лет еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому... Много думал я совершить... Еще доньше голова моя полна, а силы, силы — но бог милостив. Он верно продлит дни мои. Сажу над трудом, о котором ты уже знаешь, я писал к тебе о нем, но работа моя вяла, нет той живости. Недуг, для которого я уехал, и который было казалось облегчился, теперь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся обратилась на желудок. Эта несносная болезнь. Она меня сушит. Она говорит мне о себе каждую минуту и мешает мне заниматься. Но я веду свою работу, и она будет кончена, но другие, другие... О друг! какие существуют великие сюжеты. Пожалей о мне! — Но я с тобою увижусь. Я к тебе теперь обращаю одну очень холодную и прозаическую просьбу. Ты был так добр, что предлагал мне сделать заем, если я нуждаюсь. — Мне не хотелось пользоваться твоею добротой. Теперь я доведен до того. Если ты богат, пришли вексель на 2000. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу. Сочинение мое велико, у нас же товар продается по величине, и потому я думаю за него получить столько, что в состоянии буду заплатить этот (долг) в конце будущего года. Мои обстоятельства денежные плохи, и все мои родные терпят то же, но черт побори деньги, если бы здоровье только; год как-нибудь смогу, с помощью твоей... как-нибудь пролетится.

Если будешь посылать вексель, пожалуйста вели банкиру своему послать прямо к римскому банкиру Валентини на его имя, еще лучше кредитивным письмом, и письма ко мне адресуй тоже банкиру Валентини в Рим.

1838 г. Декабрь 1. Рим.

Я получил твое письмо, милый мой, писанное тобою от сентября на имя Валентини вместе с секундами векселей.

Благодарю тебя, добрый мой, верный мой! Много, много благодарю тебя. Далеко, до самой глубины души тронуло меня ваше беспокойство о мне! Сколько любви, сколько забот! За что это меня так любит бог? Но грустно вместе с этим мне было видеть, но тяжело, невыносимо тяжело для сердца чувствовать...

Боже! я не достоин такой прекрасной любви. Ничего не сделал я! Как беден мой талант! Зачем мне не дано здоровье? Гроздилось кое-что в этой голове и душе, и неужели мне не доведется обнаружить и высказать хотя половину его? Признаюсь: я плохо надеюсь на свое здоровье. Но в сторону об этом. Мне было очень грустно узнать из письма твоего, что ты живешь без неприятностей и огорчений... Литературные разные пакости и особенно теперь, когда нет тех, на коих почит надежда, в состоянии навести большую грусть, даже может быть отравить торжественные и вдохновенные минуты души. Ничего не могу сказать тебе в утешение. Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами и дрекольями. Поле должно остаться в руках буянов. Но мы можем, как первые христиане в катакомбах и затворах, совершать наши творения.

Удивительно ли, если подобный человек, всегда считавший созданное им ничтожным сравнительно с тем, что думал еще создать в будущем, назвал, в минуту скорби, всю свою деятельность чем-то ничтожным и неудачным? Кто не носил в своей груди

смертельной тоски совершенства, тот не совершит ничего колоссального, по крайней мере на поэтическом поприще. И какую грустную, какую страшную обстановкою окружены у Гоголя эти высокие помыслы: изнурительная, не дающая даже мысли покоя и силы болезнь, и нищета... вечная нищета, и, быть может, убийственное всего, вражда от тех, кого любил, для избавления которых от пошлости и низости страдал он душою, и необходимость бежать от этой вражды, и страстная дума на чужбине о милой родине.

Мая 10-го 1836 г. СПб.

После разных волнений, досад и прочего, мысли мои так рассеяны, что я не в силах собрать их в стройность и порядок. Я хотел было ехать непременно в Москву и с тобою наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов, должен по-дальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восставленных своих же соотечественников, которых от души любишь. Когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов, тысяча честных людей сердится, говорит: мы не плуты. Но бог с ними. Я не от того еду за границу, чтоб не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянного пребывания, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением.

Мая 15. СПб.

Я получил письмо твое. Приглашение твое убедительно. Но никаким образом не могу. Нужно захватить время пользования на водах. Лучше пусть приеду к вам в Москву обновленный и освеженный. Приехавши, я проживу с тобою долго, потому что не имею никаких должностных уз, и не намерен жить постоянно в Петербурге. Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих, и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель, он бунтовщик!» и кто же это говорит? Это говорят люди опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтобы понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными, и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты, но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества. Столица щекоотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных, что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы. Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пьесы: меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо

рисует в моей памяти, черты ее уже бледны. Но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее — и как тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит в переводе опозорить все сословие и вооружить против него других или его подчиненных. Рассмотрим положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? Москва больше расположена ко мне, но от чего? Не от того ли, что я живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что наконец... но не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения, и возвращусь к тебе верно освеженный и обновленный. Все что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он верно необходим для меня. Целую тебя несчетно. Пиши ко мне, еще успеешь.

Женева. Сентября 22/10.

Здравствуй, мой добрый друг! Как живешь? что делаешь? Скучаешь ли? веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ленишься? Бог в помощь тебе, если занят делом. Пусть весело горит перед тобою свеча твоя!.. Мне жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут... Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что нестерпимо мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню.

1840 г. Генваря 25 (в Москве).

О, выгони меня ради бога и всего святого вон в Рим, да отдохнет душа моя! Скорее, скорее. Я погибну. Еще может быть возможно для меня освежение! Не может быть, чтобы я совсем умер, чтобы все возвышенное застыло в груди моей без вызова. Спаси меня и выгони вон скорее, хотя бы даже я сам просил тебя повременить и обождать.

Рим. Октября 17, 1840.

Со страхом я гляжу сам на себя. Я ехал бодрый и свежий на труд, на работу. Теперь... Боже! Столько пожертвований сделано для меня моими друзьями — когда я их выплачу! А я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей бессовестной совести. Что передо мною впереди? Боже! Я не боюсь малого срока жизни, но я был уверен по такому свежему, добродушному началу, что мне два года будет дано плодотворной жизни. И теперь от меня скрылась эта сладкая уверенность. Без надежды, без средств восстановить здоровье. Никаких известий из Петербурга: надеяться ли мне на место при Кривцове? По намерениям Кривцова, о которых я узнал здесь, мне нечего надеяться, потому что Кривцов искал на это место европейской знаменитости по части художеств. Он хотел иметь немца Шадова, директора Дюссельдорфской академии художеств, которому тоже хотелось, а потом даже хотел предложить Овербеку... Но бог с ним, со всем этим. Я равнодушен теперь к этому. К чему мне это послужит. На квартиру, да на лекарство разве? на две вещи равные ничтожностью и бесполезностью. Если к ним не присоединится наконец третья, венчающая все, что влачится на свете.

Часто в теперешнем моем положении мне приходит вопрос: зачем я ездил в Россию? по крайней мере меньше лежало бы на моей совести. Но как

только я вспомню о моих сестрах, — нет, мой приезд не бесполезен был. Клянусь, я сделал много для моих сестер. Они после увидят это. Безумный, я думал, ехавши в Россию: ну хорошо, что я еду в Россию, у меня уже начинает простывать маленькая злость, так необходимая автору, против того-сего всякого рода родных плевал, теперь я обновлен, и все это живее предстанет моим глазам, и вместо этого что я вывез? Все дурное изгладилось в моей памяти, даже прежнее, и вместо этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что удалось мне еще более узнать в друзьях моих, и я в моем болезненном состоянии поминутно делаю упрек себе: зачем я ездил в Россию. Теперь не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол, ни на воздух, ни на все, глядеть всеми глазами. Глаза мои видят другое, мысль моя развлечена. Она с вами. Боже! как тяжело мне писать эти строки. Я не в силах более. Прощай. Боже благослови тебя во всех предприятиях, и предоставь наконец тебе поле широкое, великое, без препятствий. Ты рожден и определен на большое плавание. Я хотел бы наскоро переписать куски из Ревизора, исключенные прежде, и другие переделанные, чтобы поскорей хотя его издать, и заплатить великодушному, как и ты, Сергею Тимофеевичу, и этого не мог сделать. Впрочем я соберу все силы и может быть на той же неделе управлюсь с этим. Я не имею никаких известий из Петербурга. Напиши. Правда ли, что будто бы Жуковский женится? Я не могу никак этому верить. Прощай. Целую тебя миллион раз! Друг!

Обними Шевырева за меня несколько раз. Я бы писал к нему, но не в силах. К Сергею Тимофеевичу я бы тоже хотел писать... но что мне писать теперь. Я не в силах... Мне бы хотелось скрыть от моих друзей мое положение. — Письмо мое издери в куски: я храбрюсь всеми силами.

Говорят иные, будто у Гоголя было эгоистическое, неспособное привязываться сердце: скажите, такое ли убеждение внушают вам эти письма? Но вот еще письмо после получения вести о смерти Пушкина:

1837. Март 30. Рим.

Я получил письмо твое в Риме. Оно наполнено тем же, чем наполнены теперь все наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему. И это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя?.. Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? Не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине? Или ты нарочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд. Ты пишешь, что все эти люди, даже холодные, были тронуты этою потерю. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант. О! когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых, умников... сердце мое содрогается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел

решиться. Или ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы, отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли! Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему. И наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства, предпочел я небесам лучшим, привлекательнее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчины? Но ехать, выносить надменную гордость... людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить — нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей — никогда! Мои страдания тебе не могут вполне (быть) понятны: ты в пристани, ты как мудрец можешь перенести и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы, сложить мне голову свою на родине. Если ты имеешь желание ехать освежиться и возобновить свои силы, увидеть меня — приезжай в Рим. Здесь мое всегдашнее пребывание. На июнь и июль еду в Германию на воды, и, возвратившись, провожу здесь осень, зиму и весну. Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир. Напиши мне что-нибудь про ваши московские гадости. Ты видишь, как сильна моя любовь: даже гадости я готов слышать из родины.

Ужели все это поддельные чувства? Попробуйте подделаться так, и мы увидим, успеете ли вы обмануть нас хотя на один день; но если вы наложите на себя роль на всю жизнь, — неужели это возможно? Нет, натура ежеминутно будет вырываться наружу из-под личины.

И характер и самая судьба Гоголя представляют чрезвычайно много общего с характером и судьбою Руссо, этого нищего, оклеветанного, бежавшего от родины и нежно, тоскливо любящего родину, подозрительного, неизмеримо и справедливо гордого, чрезвычайно скрытного и не умеющего ничего скрыть, пренебрегающего всем и всеми, нуждающегося во всех, впадавшего во многое непростительное и пагубное для других менее высоких по природе своей натур и все-таки оставшегося чистым в душе, невинным и наивным, и, при всей своей наивности, и хитреца, и глубочайшего сердцеведа, загадочного для современников, очень понятного для потомства, гениального и благородного мизантропа, полного нежной любви к людям. Оба они, если хотите, были странные люди; но, — говорит Гоголь, — оба они имели право быть такими, какими были, потому что были необыкновенными людьми, и по уму, и по душе.

1840. Декабря 28. Рим.

Утешься! Чудно милостив и велик бог: я здоров. Чувствую даже свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мертвых Душ». Вижу, что предмет становится глубже и глубже. Многие совершилось во мне в немногое время; но я не в силах теперь писать о том, не знаю почему, может быть потому самому, почему не в силах был в Москве сказать тебе ничего такого, что бы оправдало меня перед тобою во многом. Когда-нибудь, в обоюдной встрече, может быть на меня найдет такое расположение, что слова мои потекут, и я с чистой откровенностью ребенка поведаю

состояние души моей, причинившей многое вольное и невольное. О! ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить в глубине души, жить и дышать своими творениями, тот должен быть страшен во многом. Боже! другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страны. Как это тягостно иногда! Но довольно. Целую тебя! Письмо твое утешительно. Благодарю тебя за него! растроганно, душевно благодарю. Я покоен. Свежий воздух и приятный холод здешней зимы действуют на меня животворительно. Я так покоен, что даже не думаю вовсе о том, что у меня ни копейки денег. Живу кое-как в долг. Мне теперь все трын трава.

Мы не боимся наскучить читателю выписками, потому соберем еще отрывки, касающиеся такого эпизода в служебной деятельности Гоголя, обыкновенные слухи о котором всегда казались нам странны. Сличив отзывы самого Гоголя с некоторыми местами в «Авторской исповеди», припомнив некоторые общие истины о легкости удовлетворить многим требованиям, если только захотеть удовлетворять им, о том, как легко овладевают апатия и отвращение человеком с пылкою натурою, когда он встречает равнодушные и т. д., мы будем снисходительнее судить об этом эпизоде в жизни Гоголя.

Ты не гляди на мои исторические отрывки: они молоды, они давно писаны, не гляди также на статью о средних веках в Д. журнале. Она сказана только так, чтобы сказать что-нибудь, и только раззадорить несколько в слушателях потребность узнать то, о чем еще нужно рассказать, что оно такое. Я с каждым месяцем и с каждым днем вижу новое, и вижу свои ошибки. Не думай также, чтоб я старался только возбудить чувства и воображение. Клянусь! у меня цель высшая. Я, может быть, еще мало опытен, я молод в мыслях, но я буду когда-нибудь стар. Отчего же я через неделю уже вижу свою ошибку. Отчего же передо мною раздвигается природа и человек. Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия; что значит не встретить отзыва. Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И от того я решительно бросаю теперь всякую художническую отделку, а тем более желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками, и только смотрю в даль, я вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитую (sic) через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный... Но в сторону все это.

Я рас...лся с университетом, и я через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взшел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года, годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит: что я не за свое дело взялся; в эти полтора года я много вынес оттуда, и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня. Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнетесь с большей силою, и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая, а неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и пр. и проч. Я тебе одному говорю это, другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну, наконец, решаюсь давать на театре.

Примеры удивительной меткости, пронизательности взгляда и чрезвычайной верности понимания людей и житейских дел рассеяны на каждой странице писем. Приведем только одно суждение, высказанное по поводу намерения г. Погодина написать драматические пьесы из эпох Бориса Годунова и Петра Великого.

Если вы хотите непременно вынудить из меня примечания, то у меня только одно имеется. Ради бога прибавьте боярам несколько глупой физиогномии. Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны... Через это небольшой ум между ними уже будет резок. Об нем идут речи, как об развученой голове. Так бывает в государстве...

Какая смешная смесь во время Петра... один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что один бранит антихристову новизну, а между тем сам хочет делать новомодный поклон, и бьется из сил сковеркать ужимку французокафтанника...

Какая пронизательность исторического взгляда!

Искренно благодарим г. Погодина за напечатание драгоценных писем Гоголя и надеемся увидеть продолжение этой чрезвычайно любопытной корреспонденции в следующей книжке «Москвитянина».

Апрель 1856 года.

От «Русского вестника» публика ожидала хороших ученых статей и не ошиблась в этом предположении: в двух первых томах он дал читателям много хороших ученых трудов, из которых иные справедливо заслужили общее внимание. Не будем перечислять всех статей по различным отраслям науки; назовем только важнейшие, или по интересу содержания, или по именам авторов, или по тому и другому вместе. Главнейшим образом, «Русский вестник», подобно всем нашим журналам, интересуется разработкою истории русской литературы и русской истории; так и должно быть, потому что публика ныне по преимуществу интересуется этими предметами.

Характер общего воззрения, которым «Русский вестник» намерен руководиться при рассмотрении вопросов, касающихся истории нашей литературы, определился, кажется, с более или менее достаточною для его читателей ясностью направлением статьи г. Каткова, «Пушкин». Автор занят исследованием художественной стороны в произведениях нашего великого поэта, определением и уяснением законов творчества, которые с особенною точностью могут быть подмечены в его таланте. При этой высокой точке зрения, конечно, историческая связь художника с его веком, биографические мелочи и общественное значение его созданий имеют только второстепенное значение, и все клонится к разрешению чисто эстетических задач. Большая часть рецензий, помещенных в «Русском вестнике», подтверждают своим характером уверенность, возбуждаемую этой капитальной статьей журнала: он хочет быть органом художественной критики. Конечно, литера-

тура наша может от этого только выиграть, и каждое определенное, твердое, верное себе направление имеет цену уже потому, что в основании его лежит убеждение. Статья г. Анненкова «О значении художественных произведений для общества» очень верно соответствует направлению, выражаемому эстетическим исследованием г. Каткова. По истории литературы «Русский вестник» представил прекрасную статью г. Савельева, известного нашего ориенталиста: «Н. И. Надеждин». Г. Савельев в последнее время был в близких отношениях к покойному редактору «Телескопа», и воспользовался оставшимся после него отрывком автобиографии, чтобы высказать несколько верных и теплых замечаний о литературной деятельности и личных качествах этого замечательного писателя. Превосходно написан и чрезвычайно интересен отрывок из воспоминаний нашего знаменитого романиста И. И. Лажечникова: «Знакомство мое с Пушкиным».

По русской истории заметим статьи г. Соловьева «Древняя Русь» и «Август-Людвиг Шлёцер», г. Д. Милютина «Суворов», г. П. К. Щ-ого «Правление царевны Софии» и г. Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины в России». О каждой из них мы должны сказать по несколько слов, а исследование г. Чичерина, касающееся вопроса очень важного и в высшей степени интересного и представляющее выводы, совершенно различные от общепринятого доселе взгляда, заслуживает подробного рассмотрения, и мы готовы были бы посвятить ему не несколько слов, а несколько десятков страниц.

«Древняя Русь» г. Соловьева — общий взгляд на исторические отношения России к Западной Европе; главная мысль автора, что наш народ всегда стремился быть одним из европейских народов, хорошо известна была публике, как одно из основных понятий г. Соловьева. [Будучи поставлена, после отрывка из «Мертвых душ», первою статьею в первой книжке «Русского вестника», статья г. Соловьева приобретала значение как бы разительности европейских симпатий начинаемого ею журнала]. — «Август-Людвиг Шлёцер» — не исследование о значении трудов этого ученого по русской истории, а биографическое введение к этому исследованию, без сомнения, приготавливаемому автором. Г. Соловьев рассказывает жизнь Шлёцера, до отъезда из России, в 1767 году. Статья эта принадлежит к числу лучших в «Русском вестнике». Д. А. Милютин дал журналу не менее, если еще не более занимательную главу из первой части своей «Истории итальянских войн». Личность Суворова очень верно понята и ясно очерчена в этом обзоре его жизни до назначения главнокомандующим русской армии, посланной в Италию. «Правление царевны Софии», г. Щ-ого, возбудило общее внимание догадками о том, кто этот г. Щ-ий, загадочная подпись которого в первый раз является в нашей литературе, под статьею, отличающеюся если не глубоким изучением источников, то хорошим рас-

сказом, если не новым взглядом на людей и события, то, во всяком случае, удачным выбором эпохи, очень важной и мало разработанной нашими историками. Когда любопытство, возбужденное именем автора, остыло, многие от одной крайности перешли к другой и стали отнимать у рассказа все достоинства. Это несправедливо: статья г. Щ-ого, конечно, не есть капитальное произведение великого исторического таланта или глубокой учености, но она написана живо и хорошо.

Важнейшая в научном отношении статья, из всех доселе помещенных «Русским вестником» — «Обзор исторического развития сельской общины в России», принадлежит молодому ученому, также, если не ошибаемся, в первый раз выступающему на литературное поприще¹. Нам кажется, что труд г. Чичерина имеет существенные недостатки, но, тем не менее, надобно ожидать от деятельности автора прекрасных результатов для науки, лишь бы только он продолжал трудиться, как начал, продолжал сочувствовать не мелочным, хотя блестящим, подробностям внешней истории, а великим вопросам нашего исторического быта: для первых всегда найдется довольно компиляторов и рассказчиков, вторые нуждаются в даровитых исследователях. Первая статья г. Чичерина встречена живым сочувствием каждого просвещенного читателя, одобрением всех замечательных специалистов. Желать надобно, чтобы это побудило его идти по дороге, на которую вступил он решительно и удачно, а других молодых ученых — следовать его примеру. Достоинства исследования г. Чичерина так несомненны, что мы не боимся высказать откровенное мнение о тех сторонах его труда, которые вызывают критику.

Г. Чичерин был возбужден к своему исследованию, как видно, мнением о патриархальном происхождении нашей сельской общины, высказанным в известной книге барона Гакстгаузена. У него родилось желание проверить изучением фактов это понятие, показавшееся ему несправедливым. Он стал искать в истории подтверждения или опровержения доказательств, приводимых Гакстгаузенем, — нашел, что их можно опровергнуть, опроверг и удовлетворился этим, полагая, что опровергнуть слова Гакстгаузена значит доказать неосновательность мнения, разделяемого знаменитым путешественником. Он остановился на Гакстгаузене — это была, нам кажется, первая ошибка с его стороны. Автор «Путешествия по России» авторитет в сельском хозяйстве, политической экономии, если угодно, в этнографии и многом другом, касающемся современного быта, но не в истории. Он излагает вопрос, обративший на себя внимание г. Чичерина, только мимоходом, не развивая в надлежащей полноте и точности доказательств, на которых основывается мнение, кажущееся ему справедливым. Эта неполнота и неточность опровергаемого писателя послужили причиной неполноты и неточности и в опровержении. Если бы г. Чичерин, начав с Гакстгаузена, не остановился на нем,

а перешел к нашим историкам, он нашел бы истинных своих противников, от победы над которыми и зависит успех его дела, потому что у них мнение о патриархальном происхождении русской общины подкрепляется гораздо сильнейшими доказательствами, нежели у немецкого экономиста. Он нашел бы тогда необходимость сообщить более строгости и самым приемам, употребляемым у него при решении вопроса. Теперь же многие существенно важные для решения вопроса факты, выставленные нашими историками в таком виде, которым подтверждается патриархальное происхождение нашей общины, он оставляет без внимания, о некоторых других высказывает понятия, едва ли согласные с нынешним состоянием русской истории, и вообще полагает доказанным многое вовсе не доказанное, и, наоборот, лишенным доказательств многое кажущееся ныне положительно доказанным. Оттого и результаты его исследования, в которых несомненно есть доля правды, являются не вполне доказанными, а часто и решительно преувеличенными. Не считаем научным доводом той мысли, которою, будто твердейшим аргументом, заключается его статья: «сравнивать наши общины с патриархальными общинами других народов значит отрицать в нас историческое развитие» — это вовсе не аргумент: во-первых, наука должна стремиться не к тому, чтобы доказать ту или другую приятную или неприятную для нас мысль, вносимую в науку извне, а просто к открытию истины, какова бы она ни была; во-вторых, неподвижность сельских общин вовсе не есть доказательство неподвижности всего нашего исторического существования: известно, что общий ход исторического движения состоит в расширении его круга; начинается оно с передовых классов общества и достигает низших слоев народа, что совершается очень медленно. И в Англии и во Франции народ еще недавно и очень мало вовлечен в историческое движение; тем естественнее полагать, что у нас оно еще и не касалось сельского быта, и факты доказывают, что историческими деятелями у нас доселе были только высшие сословия и, отчасти, города: о народе история упоминает редко, разве в исключительных случаях, как в 1612 году, да и то для того только, чтобы тотчас же опять забыть о нем. Удивительно ли после того, что историческое движение очень мало касалось внутреннего быта сельских общин? Так и думают обыкновенно, полагая, что они составляют остаток патриархального быта. Г. Чичерин приходит к совершенно другим выводам, которые выражены им в следующих положениях:

Из исторического обзора сельских учреждений мы можем вывести следующее:

1. Что наша сельская община вовсе не патриархальная, не родовая, а государственная. Она не образовалась сама собою из естественного союза людей, а устроена правительством, под непосредственным влиянием государственных начал.
2. Что она вовсе не похожа на общины других славянских племен, сохранивших свой характер посреди исторического движения. Она имеет свои

особенности, но они вытекают собственно из русской истории, не имеющей никакого сходства с историей западных славянских племен.

3. Что наша сельская община имела свою историю и развивалась по тем же началам, по каким развивался и весь общественный и государственный быт России. Из родовой общины она сделалась владельческой, а из владельческой государственною. Средневековые общинные учреждения не имели ничего сходного с нынешними: тогда не было ни общего владения землею, ни ограничения права наследства отдельных членов, ни передела земель, ни ограничения права перехода на другие места, ни соединения земледельцев в большие села, ни внутреннего суда и расправы, ни общинной полиции, ни общинных хозяйственных учреждений. Все ограничивалось сбором податей и отправлением повинностей в пользу землевладельца, и значение сельской общины было чисто владельческое и финансовое.

4. Настоящее устройство сельских общин вытекло из сословных обязанностей, наложенных на земледельцев с конца XVI века, и преимущественно из укрепления их к местам жительства и из разложения податей на души.

Если бы эти положения были подтверждены решительными доказательствами, все наши понятия о внутренней истории русского быта совершенно изменились бы, чему, сказать кстати, нельзя было бы не радоваться, потому что новые, вводимые мною о недавнем происхождении нынешней сельской общины, представляли бы гораздо более приятного личным желанием почти каждого из нас. Но дело в том, что г. Чичерин, исключительно занимаясь Гакстгаузенем, недостаточно, как нам кажется, опроверг мнение о патриархальном происхождении нашей сельской общины, только разделяемое немецким путешественником, но во все не им основанное и опирающееся на многочисленных фактах, не приводимых, конечно, у Гакстгаузена и не рассмотренных в статье нашего исследователя. Кроме того, как нам кажется, г. Чичерин допустил в основных своих понятиях некоторую неясность, чему причиною опять изложение Гакстгаузена, который, как мы сказали, не имел намерения углубляться в исторический вопрос, чуждый его специальности. Г. Чичерин скромно говорит, что «не имел претензии написать полную историю сельской общины, а хотел только выставить на вид некоторые исторические данные, могущие служить к уяснению этого важного вопроса». Мы, ограниченные тесным пространством трех-четырех страниц в беглом журнальном обозрении, еще менее можем предъявлять претензию на полный разбор его прекрасной статьи, обильной и новыми фактами и новыми взглядами; мы хотим также только высказать некоторые замечания относительно ее существенных положений. «Наша община не родовая, она не образовалась сама собою из естественного союза людей», потому что в нее вторглись чуждые элементы, именно, она подпала под власть чуждого ей князя и его дружины. Но автор не исследовал, в каком отношении эти владельцы стали к внутреннему быту общины. Касались ли они ее внутреннего устройства, или довольствовались тем, что собирали подать, брали ратников на время похода и присвоили себе право судить, по старым обычаям? Все доказывает, что они ограничива-

лись этою заботою о собственных правах и выгодах, этими чисто внешними отношениями, и, если община исполняла свои обязанности к владельцу, она ведала свои домашние дела как хотела. «Земля стала собственностью князя и других владельцев, а не общины». Что ж тут важного для общинного начала? и ныне земля составляет собственность государства или помещика, а не общины; за крестьянами, ее населяющими, признается только право пользования ею, а не собственности, — но делить ее между собою по старому общинному началу никто им не мешает, — ни государственная администрация, ни помещик. Так и всегда было. В какие бы руки ни переходила высшая власть над землею, которую населяют и непосредственно обрабатывают поселенцы, они все-таки обрабатывали и делили ее между собою по старому обычаю. Владелец в это не вмешивался, потому что это не касалось его интересов. Правда, прямая выгода побуждала его, как побуждает и ныне, часть земли, находящейся в его владении, брать в собственное пользование и обрабатывать ее посредством натуральной повинности, возлагаемой им на поселенцев, или отдавать в наем. Г. Чичерин, находя в древних памятниках факты, указывающие на обычай отдавать землю в наем, видит в них доказательство, что в XIV—XVI или XII—XV веках (наугад определяем эпоху, к которой надобно относить по его теории падение общины, потому что он сам не определяет ее точным образом) община совершенно исчезла. Это несправедливо. Никто не думает, чтобы когда-нибудь все пространство русской земли делилось между членами общин: напротив, за выделением каждому участка для обработки, всегда оставалось множество земли; она принадлежала племени, или общине; потом, когда явились владельцы, принадлежала владельцу, как ему принадлежала и земля, предоставленная в обработку общине, живущей под его властью; и если эта часть земли, не принадлежащая к участку, обрабатываемому общиною, отдавалась в наем, это нисколько не мешало внутреннему порядку общины, которая оставленные ей земли все-таки делила между своими членами. Право найма существовало и в патриархальной общине, — этого никто не думал отрицать. Продажа и покупка разных участков земли отдельными лицами также не мешает признавать, что общинное владение продолжалось. Никто не думал отрицать, что подле общинных земель издавна возникли частные владения. Напротив, историки наши говорят об этом положительно и находят, что количество земли, состоящей в частной собственности, постепенно увеличивалось; но все-таки большая половина обрабатываемой земли оставалась в общинном владении (если община была независима от частного владельца) или, по крайней мере, в обработке у общины с прежним обычаем дележа (если община находилась под властью частного лица). Третью причину утверждать, что родовая община в XIII—XVI веках исчезла у нас,

автор находит в переселениях крестьян, которые тогда не были крепки земле: родственники могли расходиться, чуждые друг другу люди сходиться. Это опять ничего не доказывает. Никто не думал утверждать, чтобы общинность владения землею в каком-нибудь селе Иванове или Петрове в XVI или XV веке зависела от того, что все поселяне, живущие в нем, считают себя потомками одного и того же лица, Ивана, жившего в XII веке, или Петра, жившего в IX веке. Они могли быть совершенно посторонние друг другу люди и знать, что не находятся в родстве — и все-таки они по старому обычаю делили землю. Ученые, думающие, что община наша имеет патриархальное происхождение, не то полагают, чтобы до XVII века не существовало на Руси никаких отношений, кроме родовых: напротив, они показывают, как мало-помалу развивались отношения, чуждые родовому быту, и говорят только, что, по старому обычаю, при отсутствии причин поступать иначе, на эти новые отношения переносились формы и учреждения родового быта. Так было и с общинным началом. Принимая в общину постороннего человека, ему давали в XV веке участок земли, как то делается и ныне. При этом автор, повидимому, представляет себе, что до укрепления поселян за землею переселения отдельных лиц с одного жительства на другое происходили в таком обширном размере, какого они наверное не имели. Нельзя предполагать, чтобы до конца XVI века поселяне наши «предавались», как он выражается, «кочевой жизни», и чтобы на Юрьев день дороги покрывались бесчисленными обозами переселенцев. Без особенных, чрезвычайно сильных причин, без крайней необходимости земледелец не решится на переселение: оно очень трудно для него. И чем внимательнее вникнем в данные, сохраненные для нас актами, летописями, песнями, записками иностранцев, тем тверже убедимся, что распоряжения об укреплении поселян за землею были вызваны не столько желанием прекратить бродяжничество, сколько другими соображениями, о которых упоминает и г. Чичерин. Самое приведение в исполнение этой меры доказывает, что число действительно пользовавшихся прежним обычаем было не слишком значительно и что масса населения вначале приняла новую меру довольно равнодушно, более как формальность, нежели как существенное изменение в материальном положении. Следствия обнаружились уже через несколько лет, как то указано, между прочим, и г. Соловьевым в «Обзоре событий конца XVI и начала XVII столетий». А когда поселяне решались переселяться, это чаще всего делалось не отдельными людьми, а целыми волостями или селами. Причины были общие для всех жителей села или волости — недостаток земли, или обременительность условий, или слух о лучших условиях. Да и ныне подобные факты совершаются большею частью сообща всеми поселянами, а не отдельными искателями приключений. Словом,

ближайшее соображение фактов убеждает, что число новых пришельцев в общине никогда не могло быть так значительно, чтобы расстраивать ее: община сидела на месте, а когда двигалась — что случалось редко и не с многими общинами — то двигалась вся вместе, и через переселение изменялись только ее местожительство и внешнее отношение к владельческой власти, а не внутренние отношения между поселянами, ее составлявшими. Таким образом, доказательства, на которых основывается заключение г. Чичерина о совершенном упадке общинных отношений между членами самой общины в XIII—XV веках, не представляются убедительными. Община не разрушалась; она только потеряла значение в общей государственной жизни, не имела влияния на исторические события, — это бесспорно; но эти события не коснулись ее внутреннего устройства, потому что никому не было охоты обращаться на него внимание. Г. Чичерин, кажется, смешал эти существенно различные факты, и внешнее бессилие и бездействие принял за смерть. Но если бы община умерла в XVI веке, каким образом и когда могла бы она воскреснуть, и притом воскреснуть в совершенно прежнем виде? Г. Чичерин считает ее восстановление следствием мер, принятых правительством с финансовою целью: подати вернее уплачиваются целою волостью, нежели отдельными лицами. Но, во-первых, эти причины существовали и прежде; во-вторых, где доказательства того, что общинное владение землею восстановлено административными мерами? Таких указов нет; напротив, общинное владение постоянно упоминается в узаконениях, как старинный обычай. Да и когда обычное право (*les coutumes*), если оно умерло в жизни, восстанавливалось письменным законоположением? Этому нет ни одного примера не только в русской, но и ни в какой другой истории. Характер письменного всегда нововведение, и что касается вопросов владения — всегда до сих пор во всех странах — все более и более строгое развитие прав личной собственности. И, наконец, каким образом созданная мерами правительства с финансовою целью в XVII—XVIII веках русская община могла бы походить своим внутренним устройством на патриархальную общину других славянских племен? Г. Чичерин просто отрицает это сходство, не представляя доказательств своему отрицанию. Он имел бы основание отрицать только тогда, если бы сравнил внутреннее устройство русской, сербской и пр. общин; а этого-то именно он и не сделал. Словом, если он хочет, чтобы наука приняла его мнение об исчезновении у нас сельской общины в XIII—XV веках и возрождении ее административными мерами в XVII—XVIII столетиях, он должен представить новые доказательства, которые опровергали бы понятия наших историков и факты, ими выставленные на первый план в истории нашего внутреннего быта. Если сделает это, наши специалисты, конечно, первые порадуются тому, что их ошибка будет открыта,

потому что истина для ученого, преданного своей науке, дороже всего. Но мы должны сказать, что опровергнуть понятие о нашей общине, как остатке глубокой древности, а не создании XVII—XVIII столетий — дело очень трудное и едва ли возможное.

Мы прямо высказали наше мнение о положениях, которые старается доказать г. Чичерин, потому что никакие противоречия не отнимут у его статьи важного достоинства: она — первое подробное исследование о вопросе, чрезвычайно важном; и если решение, предлагаемое автором, не будет принято наукою, то, без сомнения, специалисты отдадут справедливость тому, что труд его представляет много материалов для истории русской общины, особенно внешних ее отношений к владельцам; существенное же значение для русской истории несомненно приобретет она тем, что послужит исходною точкою для новых изысканий, — и, судя по качествам, какие обнаружил автор в своем труде, надобно желать, чтобы он принял участие в этих дальнейших изысканиях.

По всеобщей истории читателями «Русского вестника» была замечена статья г. Кудрявцева «Карл V». О лекции покойного Грановского «Океания и ее жители» мы уже имели случай говорить.

Май 1856 года.

— Радужно приветствовали мы «Русскую беседу» и радовались основанию этого журнала, будто приобретаем в нем союзника по убеждениям, сподвижника в общем деле. А между тем, известно было, что убеждения, разделяемые «Современником» со всеми другими журналами, пользующимися большим или меньшим сочувствием в огромном большинстве просвещенных людей нашей земли, отвергаются «Русскою беседою», как ошибочные; известно было, что «Русская беседа» и основывается именно с тою целью, чтобы противодействовать влиянию наших мнений, если возможно — уничтожить его. Как же радоваться появлению противника? Или мы надеялись, что «Русская беседа» будет не такова, как того все ожидали, судя по программе, что она смягчит предполагаемую резкость своего протеста, будет удаляться борьбы? Нет, этого нельзя было надеяться. Программа и имена многих сотрудников слишком ясно убеждали, что «Русская беседа» начнет открытую и сильную борьбу. Ее воинственность обнаружилась еще до появления первой книги журнала, спором его редакции с «Московскими ведомостями» о народном воззрении в науке. «Русский вестник», которому ближе петербургских журналов могли быть известны намерения нового журнала, также объявлял, что предвидит неизбежность жарких прений с «Русскою беседою». Первая книга ее не замедлила оправдать эти предвестия. Все статьи, сколько-нибудь выражающие дух журнала, таковы, что ни одна из них не могла бы быть напечатана

ни в «Русском вестнике», ни в «Отечественных записках», ни в «Современнике». «Русский вестник», по своему местному положению чувствующий на себе ближайшую обязанность обращать особенное внимание на «Русскую беседу», уже начал с нею серьезное прение: первый же номер его, вышедший после появления «Русской беседы», содержит уже сильное возражение на важнейшую статью «Русской беседы», и мы должны сказать, что в этом случае мнения, выраженные «Русским вестником», кажутся нам совершенно справедливыми. Нет сомнения, что «Русская беседа» будет защищаться и нападать, что названные нами выше петербургские журналы должны принять участие в жарких прениях и, конечно, по характеру своих убеждений, станут не на стороне «Русской беседы».

И, однако же, мы от искреннего сердца повторяем свое признание «Русской беседе», желаем ей долгого, полного силы существования. Это потому, что мы считаем существование «Русской беседы» в высокой степени полезным для нашей литературы вообще и в частности для тех начал, против которых восстает она, которые для нас дороже всего, которые мы защищали и всегда будем защищать. Будем говорить откровенно: искренность — лучшее правило в жизни; «Русская беседа» сама обещает искренность и, конечно, готова принять ее от других.

Разногласие между убеждениями славянофилов*, органом которых хочет быть «Русская беседа», и убеждениями людей, против которых они восстают, касается многих очень важных вопросов. Но в других, еще более существенных стремлениях противники совершенно сходятся, мы в том убеждены. Мы хотим света и правды, — «Русская беседа» также; мы, по мере сил, восстаем против пошлого, низкого и грязного, — «Русская беседа» также; мы считаем коренным врагом нашим в настоящее время невежественную апатию, мертвенное пустодушие, лживую мишуру, — «Русская беседа» также. И, каковы бы ни были разногласия, мы уверены, что «Русская беседа» в сущности точно так же понимает все эти слова, как и мы. Согласие в сущности стремлений так сильно, что спор возможен только об отвлеченных и потому туманных вопросах. Как скоро речь переносится на твердую почву действительности, касается чего-нибудь практического в науке или в жизни, коренному разногласию нет места; возможны только случайные ошибки с той или другой стороны,

* Употребляем это название потому, что сами сотрудники «Русской беседы» принимают его, но остаемся при мнении, которое выразили недавно, что прозвание это кажется нам произвольным и не довольно точным. Во-первых, симпатия к славянским племенам не есть существенное начало в убеждениях целой школы, называемой этим именем. Во-вторых, кто же из образованных людей не разделяет ныне с нею этой симпатии? В-третьих, имя «славянофилов» уже изношено и отчасти измелъчало: мы не хотели бы для гг. Аксаковых, Киреевских, Кошелева, Самарина, Хомякова, кн. Черкасского имени, напоминающего о Шишкове.

от которых и та и другая сторона с радостью откажется, как скоро кем-нибудь из чьих бы то ни было рядов будет высказано более здоровое решение, потому что тут нет разъединения между образованными русскими людьми: все хотят одного и того же.

В самом деле, чего хотим мы все? увеличения числа учащихся и выучивающихся; усиления научной и литературной деятельности; проложения железных дорог; разумного распределения экономических сил, и т. д. — Мы уверены, что каких бы начал ни держался человек в сфере отвлеченных вопросов, он так же будет отвергнут и «Русскою беседою», как и нами, если не хочет всего этого. Возьмем вопросы более частные. Чего, например, требует «Русская беседа» в сфере научной деятельности? Полнейшего и основательнейшего знакомства с европейскою наукою *, усиленной разработки всех отраслей науки, касающихся русского мира, преимущественно русского быта и истории. Прекрасно. Мы все хотим того же самого, и «Русская беседа», конечно, не оскорбит никого из грамотных людей русских подозрением, что он не разделяет этих желаний. В чем же несогласие между нами и славянофилами? В вопросах, которые могут быть очень важны для Германии или для Франции, но которым у нас не пришло еще время служить достаточным основанием для разъединения здравомыслящих людей. Это вопросы теоретические, пока еще вовсе не имеющие у нас приложения к жизни, — вопросы, ведя спор о которых (насколько возможен у нас спор о них), можно и должно у нас не разрывать рук, соединяемых в дружеское пожатие согласием относительно вопросов, существенно важных в настоящее время для нашей родины.

Так мы думаем и так всегда будем думать, пока «Русская беседа» не изменит делу просвещения и житейской правды, за которое теперь, несмотря на все неумеренные (и, по нашему мнению, решительно преждевременные) инвективы против людей, думающих об отвлеченных вопросах иначе, нежели она, — стоит она почти во всем существенно важным.

Будет ли она продолжать стоять за просвещение? Надеемся, основываясь на том, что издатель журнала — г. Кошелев, к числу главных сотрудников принадлежат гг. Аксаковы, Самарин, Хомяков, кн. Черкасский. Но постоянно ли будет оправдываться наша надежда, зависит от того, их ли мнения будут преобладать в журнале. Это необходимо для того, чтобы журнал приобрел симпатию в публике и литературе, и, искренно желая того, откровенно выскажем, что «Русской беседе» предстоит внутренняя

* Обращаем внимание читателей на то, что в статьях лучших участников «Русской беседы» это требование выражено с отсутствием всякой двусмысленности. Этого для нас довольно. Нужна ли нам европейская наука? Вот в чем вопрос, а не в том, избыта ли она в своем нынешнем виде от всяких недостатков и во всем ли уже достигла совершенства, — этого никто не думает и в Западной Европе, никто из умных людей не думает и у нас.

борьба для сохранения в литературе места, которое назначается ей ожиданиями публики. В первой книге, вместе с статьями, заслуживающими одобрения и от тех, которые противоречат им, нашла себе место статья, которая кажется приличною не «Русской беседе», а разве покойному «Маяку». Этого мы не хотели ожидать, и хотели бы думать, что это случайная ошибка. Если бы г. Филиппов только хвалил как ему угодно комедии г. Островского, тут не было бы беды; но зачем примешивать странные толки о посторонних делу предметах, которые он совершенно не хочет понимать? Его рассуждения слишком противоречат общему духу самой «Русской беседы». Правда, «Русская беседа», в предисловии, которое сообщено нами читателю в предыдущей книге журнала, предупреждает, что в ней мы встретим людей, «которые более или менее разногласят между собою в мнениях касательно важных и отчасти жизненных вопросов», но кружок которых все-таки связан «единством коренных, неизменных убеждений». Нам кажется, что единство между г. Филипповым и, например, г. Самаринным или гг. Аксаковыми едва ли может существовать в чем-нибудь существенно важным¹.

Союз их с ним ненатурален. Дело другое, если б он захотел сделаться их учеником, — это было бы и естественно и хорошо; тогда только мы успокоились бы за «Русскую беседу». Полагая, что это так и случится, не будем говорить о статье г. Филиппова, называющей грехом все, что происходит в мире не по правилу, предлагаемому стихом из одной русской песни:

Потерпи, сестрица, потерпи, родная!²

Мы думаем, что о делах земных, каковы наука и литература, рассуждать с г. Филипповым совершенно бесполезно; считаем обязанностью заметить только, что и он не должен бы говорить о них: ведь это суетные и тленные земные занятия, несовместные с его точкою зрения. Надеясь, что он поймет всю справедливость этой истины и не будет говорить ничего, или заговорит другим, более приличным русской литературе тоном в следующих книгах журнала, мы не будем принимать его статью в соображение при нашем мнении о «Русской беседе»; но крайность, в которую неосторожно вовлек он «Русскую беседу», служит доказательством, что новый журнал должен точнее и строже определить границы своего направления. С целью содействовать ему в этом, мы обратим внимание его участников на те обстоятельства и вопросы, от точного взгляда на которые много зависит успех общего нам с ними дела — содействия развитию родного просвещения, и плодотворность самых споров «Русской беседы» с ее противниками, если должны быть постоянные споры.

С того времени, как славянофилы, некогда смешиваемые и, может быть, смешивавшие сами себя с различными сотрудниками «Москвитянина» и тому подобных журналов, выступили сомкну-

тою партией в «Московских сборниках» 1846 и 1847 годов, прошло около десяти лет. Многими важными событиями и переменами ознаменованы эти годы и вообще в европейской, а тем более в русской жизни. Всякий, каковы бы ни были его убеждения, получил много уроков, увидел исполнение многих своих надежд, испытал много разочарований. Многое, что было — с какой бы то ни было точки зрения — своевременно и уместно в 1846 году, с той же самой точки зрения должно представляться несвоевременным в 1856 году. Кто хочет, чтобы его требования имели основание в действительности, кто не хочет сражаться с химерами, скорбеть о недостатках, уже давно исправленных, должен принять во внимание положение вещей в настоящем, а не то, как ему представлялось положение вещей в 1846 или 1847 гг. Нам кажется, например, что в настоящее время твердить о необходимости народности в изящной литературе — дело совершенно излишнее: русская изящная литература стала народна на столько, на сколько позволяют ей обстоятельства, и если в ней есть недостатки, то уже, конечно, не от подражания Западу, а от влияния совершенно других обстоятельств, чуждых намерению и желанию писателей. В этом случае славянофилы, кажется, согласны с нами. По крайней мере, так думает г. Самарин, — надеемся, и другие участники «Русской беседы» разделяют его довольство нашею изящною литературою в этом отношении. «Но в нашей науке недостает народности, нет русского воззрения в нашей науке», — говорит г. Самарин, которого в этом случае надобно считать представителем мнения «Русской беседы» вообще. Надобно, говорит он, чтобы русская наука приняла в себя столько же народности, как в изящной литературе. Итак, мерою народности в науке хотят принимать степень влияния народности на нашу изящную литературу, — кажется, так; мы не имеем нужды изменять в каком бы то ни было смысле мнения славянофилов, потому приводим в выноске слова г. Самарина *.

* Мы должны отдать г. Самарину справедливость, что мнение своих противников излагает он верно; он заставляет их говорить так: «Мысль, по существу своему, бесстрастна и бесцветна, и потому ученый, не умевший или не хотевший очистить себя от представлений, понятий и сочувствий, прилипающих невольно к каждому человеку от той среды, к которой он принадлежит, не может быть достойным служителем науки. Кто вносит случайное и частное в область мировых идей, тот выносит из нее, вместо общечеловеческих истин или верного отражения предметов в сознании, представления неполные, образы изуродованные и прихотливо расцвеченные». И вслед за этими словами начинает он изложение своих мнений таким образом:

«Совершенно то же говорилось и печаталось у нас еще недавно о искусстве. Поэзия есть воспроизведение идеи или сущности явления в живом образе. Идея — достояние всего человечества, а форма, хотя и взятая из области случайного, очищается от всего случайного и просветляется насквозь идеею; следовательно, в художественном творчестве участие народности незаконно. Это последнее применение общего понятия об отношении челове-

Если все дело состоит в этом, то, признаемся, мы не видим достаточных причин с таким жаром требовать, будто чего-нибудь нового, признания прав народности на участие в науке. В самом деле, чем ограничивается полнейшее влияние народности на изящную литературу? 1) Степень внимания, обращаемого литературою на те или другие предметы, соразмеряется со степенью важности, какую имеют эти предметы в народной жизни; потому литература занимается преимущественно изучением своего родного быта; 2) форма художественного произведения должна быть совершенно народна. Все это давным-давно существует и в русской науке, насколько существует русская наука. Огромное большинство наших ученых все силы свои посвящает разработке отечественной истории, этнографии, фауны, флоры и т. д. Теми отраслями науки, которые имеют предметом нечто общее для нас и для иностранцев, занимается только меньшинство, которого, конечно, не захочет уменьшить «Русская беседа», потому что и без того знакомство наше с европейским просвещением еще слабо и поверхностно, по справедливому сознанию «Русской беседы». Стало быть, надобно желать не того, чтобы пропорция ученых, занимающихся изучением России, увеличивалась насчет ученых, знакомящих Россию с Западною Европою, а только того, чтобы число тех и других увеличивалось, чего и желает каждый из нас. Что же касается народности в форме науки, то, как известно, форма в деле науки далеко не имеет того существенного значения, как в искусстве: наука требует от формы только двух качеств, чисто внешних: во-первых, чтобы изложение удовлетворяло читателя так называемыми качествами слога, во-вторых, чтобы оно было сообразно степени образования и познаниям той публики, для которой предназначается.

Относительно слога или манеры изложения — ужели надобно говорить о таких вещах? впрочем, так как мы хотим собственно

ческого к народному теперь устарело и откинуто вместе с бесчисленным множеством всяких предубеждений... Было бы позволительно предоставить времени произвести такую же реакцию и против теперешнего гонения на народность в деле науки; но мы мало ценим успех от пресыщения, и потому, не избегая и не откладывая спора, приступаем прямо к уяснению возбужденного нами вопроса. Недоразумения лежат на нем, как отвердевшие слои наносных понятий».

Итак, дело кажется не подлежащим сомнению: г. Самарин, говоря от имени всей школы, требует для народности в науке тех же прав, которые уже даны ей в искусстве. Обращаем также внимание читателя на слово «недоразумения»: нам кажется, что если «Русская беседа» действительно останется верна научной точке зрения г. Самарина, а не образу мыслей г. Филиппова, то действительно основанием спора окажутся взаимные недоразумения, а не существенное разномыслие, и спор о различии начал прекратится, как скоро мнимые противники объяснятся друг с другом. Объяснения с г. Филипповым, конечно, не приведут к согласию; тут различие, действительно, лежит в сущности понятий. Или нам (и г. Самарину) должно забыть то, что мы знаем, или г. Филиппову узнать многое, на что не обращал он внимания. Последнее и легче и лучше.

уяснить вопрос, то не будем оставлять без внимания и мелочей, которые иногда подают повод к серьезным, повидимому, недоразумениям — относительно слога надобно согласиться, что в нем сильно отражается народность: известно различие между немецким и французским изложением ученых вопросов, — нам кажется, что и русские ученые имеют общую манеру в этом случае: она занимает средину между французскою и немецкою. Но если кому-нибудь кажется, что слог в наших ученых сочинениях еще не так резко самостоятелен, как формы нашей поэзии, каждый уступчивый охотно оставит это мнение без противоречия: стоит ли спорить о реторике? То же надобно сказать и о приспособлении изложения науки к понятиям и степени образованности читателей: это каждый старается делать, и спорить против того, что русская книга должна быть приспособлена к потребностям русских читателей, никто не будет. Чего же больше требовать от науки в пользу народности? «А народное воззрение?» — Но в чем же оно состоит, кроме качеств, нами указанных? Гизо и Мишле — оба французы; что у них общего, кроме общих качеств французского слога? В воззрении Мишле гораздо больше сходства с воззрением, какое имеет Маколей, нежели с Гизо. Надобно вникнуть в это, и мы убедимся, что главным основанием различия в ученом воззрении бывает степень общего образования, на которой стоит автор, а не народность его, партия (ученая или политическая), к которой он принадлежит, а не язык, которым он говорит. Влияние французской народности на французскую науку, немецкой на немецкую оказывается очень незначительно, если народность не смешивать с учеными и другими убеждениями и с степенью общего образования, и не ограничивать влияния народности теми качествами изложения, которые указали мы выше. Убеждения существенно одинаковы во всех странах при одинаковой степени образованности и при одинаковом благородстве характера. Мы очень хорошо знаем, что разумеют под «русским воззрением» люди мало образованные: они выражаются так потому, что не знают о существовании и во Франции, и в Англии, и в Германии совершенно подобных воззрений между людьми мало образованными, которых и везде очень много. Но мы решительно не знаем, чем может отличаться воззрение г. К. Аксакова или г. Самарина от воззрения, какое имеет каждый ставший в уровень с веком человек, какой бы нации он ни принадлежал. Есть, правда, одно, чем они отличаются не от иноплеменников, а от многих из нас: именно, они заботятся о введении в науку русского народного воззрения, между тем как другие думают только о том, чтобы развивать свое воззрение сообразно настоящему положению науки. Но что ж делать! у каждого из нас есть свои любимые заботы, желанья, если угодно, мечты, к которым все другие люди, кроме немногих друзей, остаются довольно холодны. В этом отношении нужно соблюдать взаимную терпимость: любимая тема

есть у каждого ученого своя. Иногда над этою человеческою слабостью можно посмеяться, не переставая сочувствовать друг другу; но что касается лично нас, мы находим, что любимая тема писателей, нами названных, нимало не забавна, потому что расположение к ней вызывается фактом серьезным и грустным: наука наша находится действительно в состоянии, которого вовсе еще нельзя назвать блистательным. Правда, знанию прошедшего и настоящего России иностранцы учатся у нас; но всему остальному должны еще мы учиться у них, а сами мы не внесли еще в науку ничего нового. Все согласны в объяснении этого факта: просвещение у нас еще слишком мало распространено в обществе; истинно ученых людей у нас еще мало, все наши умственные силы еще поглощаются гигантскою задачею распространения просвещения в нашем отечестве, удивительно ли после того, что нам еще недосуг заниматься капитальными трудами для ведения вперед общечеловеческой науки? Подождем времени, когда у нас будет оставаться досуг для разработки философии, всеобщей истории и других наук, возделывание которых не лежит исключительно на нас; тогда, исполнив свою прежнюю задачу: «просветиться», мы будем работать и на пользу общечеловеческой науки не хуже немцев и французов, а, может быть, и лучше, если верить шопоту высокой народной гордости, живущей в каждом из нас. К этому фактическому объяснению, принимаемому всеми серьезными людьми, некоторым угодно прибавлять догадку, что мы можем ускорить приближение срока для своего деятельного участия в развитии общечеловеческой науки, если будем заботиться о внесении в нашу науку «народного воззрения». Положим, что эта догадка ошибочна, — в ней нет еще важного проступка: никому не запрещается строить гипотезы, разумеется, под тем условием, чтобы не враждовать к людям, не принимающим гипотезу, пока она не оправдана фактами. Положим, что она справедлива, — никто не может претендовать на людей, не принимающих ее, пока она не подтверждена фактами; сущность гипотезы в том и состоит, что принятие или отвержение ее — дело личной воли, а не обязанности. Убедить в справедливости гипотезы нельзя никакою полемикою или диалектикою: надобно подтвердить ее фактами. Итак, по нашему мнению, гг. Самарин, К. Аксаков и другие избрали бы самый верный и краткий путь, если бы озаботились проведением «народного воззрения» в капитальных ученых трудах: 1) показать фактически, в чем может состоять требуемое ими «народное воззрение» в науке, кроме указанных нами выше качеств изложения; 2) доказать самым делом, что при помощи заботы о «народности воззрения» русскому ученому легче двинуть вперед общечеловеческую науку, нежели при помощи обыкновенного метода и обычных ученых средств. Пока это не будет показано и доказано фактами, всякие похвалы народному воззрению кажутся нам лишенными действительного содержания и основания.

Но, с другой стороны, пока люди, принимающие гипотезу, которой мы не принимаем, будут обо всем, что принадлежит миру действительности и сфере положительной науки, сохранять убеждения, приличные образованному человеку нашего времени, мы не перестанем сочувствовать этим людям во всем, кроме их мечты, которая, принадлежа к миру мечтаний, не имеет в наших глазах особенной важности и не может для нас служить поводом к серьезному разногласию. Один астроном утверждает, что на луне есть жители, другой не принимает этой гипотезы. Они могут вести об этом речь «умную, но праздную», по выражению г. И. Аксакова, и, однако же, это не мешает последнему отдавать справедливую похвалу положительным услугам, какие первый может оказывать науке, одинаково интересующей обоих.

Итак, каких же положительных услуг общему нашему делу ждем мы от «Русской беседы», если она останется верна направлению, за которое ручается имя издателя и лучших сотрудников и некоторые статьи первой книги их журнала? Во всем, что касается положительных, а не отвлеченных вопросов, она, кажется нам, будет говорить верно и здраво, как говорят все истинно просвещенные люди в наше время; участники этого журнала располагают значительным запасом знаний и ревности к делу просвещения*; они люди серьезные, люди с горячими и твердыми убеждениями: как же не радоваться, что они нашли орган для своей литературной деятельности? Во всем, что имеет действительное значение для науки и жизни, они будут действовать в пользу просвещения: чего же требовать больше? Споры о гипотезах не принесут вреда ничему существенно важному, если обе спорящие стороны будут помнить, что гипотезы должны иметь только второстепенную важность сравнительно с чистыми выводами из фактов действительности; а в этих выводах более или менее согласны все образованные люди. Гипотезы, даже ошибочные, имеют и хорошую сторону (под условием, конечно, не увлекаться ими до презрения к фактам): они возбуждают деятельность мысли. Особенно важна эта выгода в тех случаях, когда мысль, слишком привыкшая к рутине и апатии, нуждается в возбудительных средствах, чтобы проснуться из полудремоты. Таково именно кажется нам положение нашей литературы, и мы ожидаем от гипотезы, выставляемой славянофилами, оживления для нашей умственной деятельности: многие, прежде не думавшие, начнут думать, — а это в настоящее время важнее всего. Споры, лишь бы только велись о предметах, «вызывающих на

* Просим не забывать, что мы имеем в виду не всех участников «Русской беседы», а таких людей, которые похожи на гг. Аксаковых, Кошелева, Самарина, Хомякова. Каждый журнал и каждая школа имеют слабые стороны и сотрудников, которые не содействуют увеличению славы журнала. Но каждый журнал стремится победить в себе эти недостатки. Без сомнения, необходимость этого увидит и «Русская беседа».

размышление», а не о каких-нибудь мелких дрязгах, и лишь бы велись благородно, оживляют литературу.

Желаем «Русской беседе» благоденствия и процветания!

«А опасность, угрожающая от нее вашим убеждениям?» — Опасность вовсе не так велика, как могут думать иные, предубежденные против «Русской беседы»: от истинных славянофилов нельзя ожидать, чтоб они хотели

Ко дням Кошихина Россию возвратить,

чтоб они стали проповедывать отчуждение от общечеловеческой образованности. Мы верим, когда г. Самарин говорит от лица их:

Потребность народного воззрения многие принимают за желание, во что бы то ни стало, отличиться от других, как будто бы в этом отличии заключалась цель направления. Им кажется, что ученый, садясь за свой рабочий стол, задает себе задачу выдумать, изобрести русское народное воззрение, например, хоть на феодализм. Нельзя же ему повторять, что сказали Гизо или Гриммы: то были немцы! И созданный воображением труженик, несчастная жертва воображаемых дурных советов, грызет перо, потирает себе лоб и губит время в бесплодной погоне за оригинальностью. Но вольно же в такой форме представлять себе участие народности в развитии науки! Неразумное, безотчетное и преднамеренное отрицание чужого потому только, что оно чужое, при недостатке своего, при внутренней пустоте, не поведет к расширению области знания. Этого никогда никто и не утверждал... Здравое понятие о народности ограничивается, с одной стороны, боязнью исключительности, с другой — боязнью слепого подражания. Эта последняя боязнь, бесспорно имевшая основание в первоначальных приемах науки, пересаженной в Россию из Западной Европы, теперь начинает исчезать.

«Имевшая», а не «имеющая»: итак, по словам г. Самарина, славянофилы находят, что восставать против слепого подражания иноземцам в науке уже прошло у нас время, и уже не боятся за нашу народную самостоятельность; итак, по их мнению, мы уже имеем в науке столько самостоятельности, сколько позволяет нам степень наших познаний. Если так думают славянофилы, они думают справедливо. Подобно г. Самарину, г. К. Аксаков говорит, что «странно было бы нападать из любви к народности на общечеловеческое: это значило бы отказывать своему народу в имени человеческом. И конечно таких нападений нельзя ожидать от «Русской беседы». Прекрасно! мы вполне верим такому образу мыслей в гг. К. Аксакове и Самарине, и желаем только, чтобы «Русская беседа» никогда не покидала этой точки зрения.

Трудно после этих объяснений понять, в чем должно состоять требуемое г. Самариним и г. К. Аксаковым «народное воззрение в науке»: ни тот, ни другой не обратили внимания на то, что сущность требования выражается в его осуществлении, и не позаботились уяснить для нас теорию свою практическими приложениями ее к каким-нибудь определенным вопросам. А теория без практики почти неуловима для мысли, и общие понятия, ими высказываемые, неопределенны в своей отвлеченности. Нам кажется, что сущность их требования состоит в том, чтобы мы поняли необходимость критики в науке и не увлекались предрассуд-

ками и пристрастиями, по крайней мере, чуждыми нашим нравам. если нельзя всегда предостеречься от предрассудков, всосанных с молоком матери, хотя и эти предрассудки не лучше других и также должны быть отстраняемы каждым из нас в деле науки. В предисловии к «Русской беседе» также встречается слово «критика». О, если дело идет только о том, что надобно все принимать с строгою критикою и беспощадно отбрасывать предубеждения, то это дело прекрасное; мы прибавили бы только, что каждое дело надобно называть его настоящим именем, и, например, чувствуя потребность «критики в науке», прямо и говорить, что требуется «критика в науке», а не «народное воззрение» или восточное начало. Само собою разумеется, впрочем, что критика хороша только при соблюдении некоторых научных условий; из них важнейшие: 1) основывать свои суждения о том, что справедливо и что несправедливо, на идеях, выработанных современною наукою, а не на каких-либо субъективных симпатиях, не на мертвой букве какой-либо книги и не на предрассудках, которые сами не выдерживают критики; 2) ни под каким видом, ни для каких целей не игнорировать и не искажать фактов. Если «Русская беседа», верная словам гг. Самарина и К. Аксакова, в своей «критике науки» будет соблюдать эти постулаты, эти категорические императивы науки, она скажет нам очень много хорошего, хотя скажет мало такого, что бы не было уже (и очень недурно) высказано в Западной Европе, потому что Европа очень любит критику в науке и занимается ею очень небезуспешно.

Не знаем, во всем ли согласятся с нами гг. К. Аксаков и Самарин, — вероятно, не во всем, потому что трудно найти двух людей, которые думали бы совершенно одинаково, хотя бы они принадлежали и к одной школе, а не к различным; но надеемся, что точек схождения в нашем и их образе мыслей найдется довольно много, быть может, более, нежели серьезных поводов к разногласию. Некоторые другие участники «Русской беседы», вероятно, найдут неудовлетворительными многие из объяснений, удовлетворительных для ученых, нами названных. Наконец, с г. Филипповым мы можем соглашаться только в двух пунктах: в том, что терпение — прекрасное качество, и в том, что смирение — высокая добродетель; но так как эти вопросы принадлежат не литературе, а законам благоустройства и благочиния, то можно, пожалуй, сказать, что мы с ним не сходимся ровно ни в чем, когда речь идет о литературе. Это различие между разными соучастниками «Русской беседы» делать необходимо: иначе, если мысли г. К. Аксакова смешивать с мыслями г. Филиппова, или наоборот, дело совершенно запутается.

Но мы все говорим о направлении «Русской беседы», а ничего еще не сказали о содержании первой ее книги, — это потому, что интерес публики возбуждается собственно направлением «Русской беседы», а не частными достоинствами или недостатками

статей, вошедших в состав ее первой книги. О них достаточно будет сказать несколько слов. С лучшими из стихотворений мы уже познакомили читателя в предыдущем номере нашего журнала; кроме их, в отделе изящной словесности помещено одно стихотворение Жуковского и две его статьи в прозе: «О меланхолии» и «О привидениях». Дух, которым они проникнуты, тот же, как и в остальных сочинениях Жуковского о психологических предметах. Кроме того, г. П. Киреевский поместил несколько русских песен из своего сборника. В отделе критики заметим статью г. Г—ва «О семейной хронике» г. С. Аксакова: в ней рассеяно много умных мыслей; две небольшие статьи г. Кошелева отличаются [здравым взглядом и] большим знанием дела [трудно не убедиться его доказательствами, что средоточием, из которого должны расходиться железные дороги по всем краям России, надобно избрать Москву]. О статье г. Самарина: «Два слова о народности в науке» и небольшой статейке г. К. Аксакова: «О русском воззрении» мы говорили подробно. Они служат как бы программой «Русской беседы», — и если она останется верна этой программе, то, без сомнения, приобретет общее уважение, чего мы от души желаем.

Июнь 1856 года.

И стихотворениям, и повестям, и драмам бывает иногда, как людям, счастье, ничем, повидимому, не заслуженное. Скажите, например, за что все чувствительные сердца в старинные годы выбирали для аккомпанеента своих вздохов непременно или:

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь...

или:

Взвейся выше, понесися,
Сизокрылый голубок...¹

между тем, как в то же самое время были сотни других песенок, ничуть не уступавших ни «сизокрылому голубку», ни «сизому голубочку» своею чувствительностью и гораздо лучше написанных? За что изречение Суворова дало бессмертие именно «Пригожей поварихе», а не другому какому-нибудь плохому роману? ² Чем, наконец, и в наши времена комедия «Чиновник» заслужила то особенное счастье, что возбудила живые споры в обществе и подала повод к появлению двух замечательных разборов, из которых один читатели пробежали в предыдущей книжке нашего журнала, а первая половина другого, принадлежащего Н. Ф. Павлову, помещена в № 11 «Русского вестника»? ³ Русская драматическая литература не очень богата прекрасными новостями; но каждый скажет, что всякий год ставится у нас на сцену если не больше, то уж никак не меньше десятка новых пьес, отличающихся гораздо большими литературными достоинствами, нежели

последняя пьеса графа Соллогуба. И, однако ж, они проходят без шума; а «Чиновнику» досталась громкая слава. Или эта комедия обратила на себя общее внимание тем, что поразительно плоха? — и того нельзя сказать о «Чиновнике»: он, правда, очень слаб в художественном отношении, но бывают сотни пьес еще гораздо слабее его — и, однако же, о них не говорят, а о нем говорят. Странное счастье, незаслуженное счастье «Сизому голубочку», «Пригожей поварихе» и «Чиновнику»!

Так ли? В самом ли деле незаслуженное? Не на первый ли только взгляд кажется, будто все эти три произведения получили свою известность только благодаря капризу случая? Ведь случайно ничего не бывает на белом свете — ужели только «Сизый голубок» и «Чиновник» составляют исключение из общего правила? Вероятно, известность их основана же на чем-нибудь. О «Сизом голубке» нам некогда пускаться в изыскания; но что «Чиновник» наделал шума не без причины, знает каждый: благо, дело еще недавнее. В комедии графа Соллогуба есть несколько горячих слов против злоупотребления, которое возбуждает общее негодование. Потому-то и возбудила она к себе общее внимание.

Так. Но этим самым объяснением и запутывается дело. Если некоторые прекрасные фразы «Чиновника» вызвали единодушные аплодисменты, то за что же критика напала на эту комедию так безжалостно? Положим, что пьеса слаба, очень слаба; но ведь не говорят же о самых слабых пьесах так строго, как говорит о «Чиновнике» Н. Ф. Павлов. Его разбор написан чрезвычайно едко. Неужели пьеса не заслуживала пощады за свои громкие фразы? Отчего такой гнев?

Оттого гнев, что высокие притязания не могут не возбуждать желчи, когда ими обнаруживается только незнание дела и неумение взяться за него.

В чем эти высокие притязания, эта неправда, нам не нужно говорить: читатели знают, какой вопрос ставит «Чиновник» и как решает его. В главных мыслях, критика г. Н. Ф. Павлова сходится с тем, что было высказано в нашем журнале по поводу пьесы графа Соллогуба. Надимов, столь самодовольный, с такою гордостью выставляющий себя в пример всем, так презрительно отзывающийся о всех, кроме себя, провозглашающий во всеуслышание, что Россия в нем нуждается и погибнет без него, — этот Надимов не знает ни России, ни людей, ни самого себя; он ни к чему не способен, он поступает хуже всех тех, против которых восстает. Надобно же разоблачить такого человека, надобно же доказать, что он сам не понимает того, о чем твердит. И если он выступает на сцену с намерением сделать других подобными себе, то надобно же сказать, что он жестоко ошибается, считая себя образцовым человеком, и что истина, случайно примешиваемая им к суетным похвалам самому себе, искажаясь в его устах в угоду его самолюбивым мечтаниям, перестает быть истиною.

С этой целью написан разбор Н. Ф. Павлова, как и разбор, помещенный в «Современнике». Но г. Павлов идет далее. Обнаруживая, что идея комедии фальшива, он подробною эстетическою критикою доказывает, что фальшивость основной идеи погубила и художественное достоинство пьесы.

Чрез это его разбор получает новое достоинство: в нем приобретает русская литература прекрасный пример истинной художественной критики, понятия о которой так затемнились после смерти Белинского.

Художественность состоит в соответствии формы с идеею; потому, чтобы рассмотреть, каковы художественные достоинства произведения, надобно как можно строже исследовать, истинна ли идея, лежащая в основании произведения. Если идея фальшива, о художественности не может быть и речи, потому что форма будет также фальшива и исполнена несообразностей. Только произведение, в котором воплощена истинная идея, бывает художественно, если форма совершенно соответствует идее. Для решения последнего вопроса надобно просмотреть, действительно ли все части и подробности произведения проистекают из основной его идеи. Как бы замысловата или красива ни была сама по себе известная подробность — сцена, характер, эпизод, — но если она не служит к полнейшему выражению основной идеи произведения, она вредит его художественности. Таков метод истинной критики. У нас в последние годы все эти коренные понятия запутались и затемнились. Люди, наиболее толковавшие о художественности, решительно сами не знали, что такое художественность. Они, забыв обо всем, на что должна обращать главное свое внимание критика, вообразили, будто художественность состоит в красивой отделке подробностей, в украшении произведения заботливо сделанными картинками и ловко обточенными фразами. О том, имеют ли смысл эти украшения, нужны ли они для выражения идеи, существует ли, наконец, в произведении какая-нибудь идея, они и не думали спрашивать.

По их понятиям, чем более походит литературное произведение на хорошо обточенную игрушку с приятно звенящими бубенчиками, тем оно художественнее. Они совершенно возвратились к невинной поре триолетов и буриме. Если бы воскресли Буало и Лагарп, они обняли бы этих мастеров разбирать достоинства «красот пиитических»; сам Толмачев и даже сам Бургий не отказали бы в полном своем одобрении их тонкому вкусу.

Но публика не способна ныне восхищаться литературными игрушками, еще менее способна уважать рассуждения о достоинствах отделки бубенчиков на игрушках. Критика лишилась не только уважения, даже внимания читателей. Она стала скучна. Кому охота смотреть на то, как переливают из пустого в порожнее? Одного слова «художественность» стало уже довольно, чтобы навести тоскливейшую зевоту на самого бесстрашного читателя.

Не пора ли прекратить эту забаву? довольно времени погублено на нее; довольно надоела она всем.

Пора критике вспомнить, что она должна быть не пустословием об игрушечных бубенчиках. Чем же она должна быть? Не-зачем пускаться в длинные рассуждения о том, чем должна быть критика, — укажем на разбор «Чиновника», написанный г. Н. Ф. Павловым: вот истинно художественная критика, вот та критика, которой требует публика, потому что в ней находит мысль и дело, а не пустые речи о красотах побрякушек.

Каждый помнит еще превосходные письма г. Н. Ф. Павлова по случаю издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя⁴. Разбор «Чиновника» стоит, в своем роде, этих писем. Больше мы ничего не скажем в похвалу его новой статьи, потому что трудно приискать другую похвалу выше этой.

Вы хотите говорить о художественности? Посмотрите же, как понимает художественность г. Павлов, как он, ни на минуту не забывая об идее произведения, каждую подробность спрашивает: «скажи мне прежде, зачем ты здесь? дала ли тебе общая мысль комедии право являться передо мною в этой комедии? Нужна ли ты для воплощения идеи? Не противоречишь ли ты ей, вместо того, чтобы оправдывать ее и оправдываться ею? Только тогда, если ты докажешь это, я спрошу, красива ли ты». И когда каждая сцена, каждый характер поочередно обличается в несообразности с идеею целого или в излишности для нее, он неумолимо говорит: «быть может, эта частность отличается щегольскою отделкою, все равно: будь она красива или некрасива, — она неуместна, фальшива, противохудожественна». Быть может, например, салон графини описан очень изящными и подробными чертами, быть может, вся внешность аристократизма выставлена в лице графини очень точно; но чувства и поступки графини носят ли на себе отпечаток аристократизма? Узнаем ли мы из комедии графа Соллогуба, как чувствуют и поступают дамы высшего общества? — Нет. Нет? Так зачем же она графиня? зачем же ее аристократический салон? Это рама без портрета, это надпись без предмета, к которому должна относиться, в этих подробностях нет художественного смысла, автор испортил ими свою комедию, в которой они излишни и фальшивы:

Вообще надо заметить, что тут действует какая-то графиня допотопная, а не графиня современная нам. Иные писатели любят присвоивать себе, преимущественно перед другими, знание всех тонкостей в светском круге, называемом, если хотите, высшим обществом. Знание это, благодаря нашим нравам, нашей физиологии и счастливо или несчастливо сложившимся историческим событиям, достигается легко и нисколько не сопряжено с теми препятствиями, которые были отличительною чертою народов Запада. Не было и нет мудрости познакомиться с графиней, с убранством ее комнат, с ее гардеробом, проникнуть к ней в душу, исследовать движения ее ума, определить понятия, привитые ей веком. Нужен только талант. Но, повторяем, в сочинениях иных писателей не заметно дельного желания изучить предмет, кото-

рый, по благоприятному стечению обстоятельств, находится под рукою. К несчастью, все, что носит у нас правильно или неправильно имя образованности: познания, общественное положение, знакомство с известною средою людей, все употребляется часто средством для одного чванства перед другими. При внимательном взгляде нередко можно увидеть там на дне ничего более, как пустое тщеславие. «Я профессор в этой науке не потому, чтобы имел особенные способности, а потому, что ежедневно упражняюсь в ней, я ежеминутно там, где вас нет». Это щегольство, основанное на ничтожных случайностях жизни, влечет за собою часто свое собственное наказание.

Тот не знает высшего общества, кто знает его затем только, чтоб сказать другим, что они его не знают, как не может назваться образованным человеком тот, кто читает книгу затем только, чтоб похвастать ею. Да, ко многим изображениям этого общества примешивалось у нас почти всегда тайное чувство хвастовства, — и что же вышло? писатель превратился в модистку с Невского проспекта, в столяра, в бронзовых дел мастера. Нарядить графиню по моде, поставить перед ней вазу с цветами, убрать ее стол разными безделками, посадить ее в кресла, обитые бархатом, заставить непременно ездить верхом, постлать ковер, вынуть у нее из головы всякую мысль, а из сердца всякое путное чувство — это значит изобразить светскую женщину, графиню. Но, боже мой, этот рецепт уже известен давно, это уже невыносимо скучно и страх надоело. Ведь в светской женщине, в графине, несмотря на то, что она графиня, может также быть воображение, тонкость ума, живость чувства, какое-нибудь понимание того, что дышит, движется, мыслит и чувствует около нее. Ошибитесь, ради бога, в ее туалете, нарушьте требования моды, оставьте в покое письменный стол, верховых лошадей, избавьте нас от ковров, от мебели, но схватите душу светской женщины, уловите направление ее мысли, представьте влияние окружающих ее обстоятельств на ее природный характер. Что это за графиня? зачем увлекать ее от нас, готовых с такою нежностью любоваться ею, в сферу давно забытых индейских каст, и насильственно разрывать у нее все точки соприкосновения с мелкими чиновниками, когда ни век, ни она сама, как она есть в самом деле, не требуют такой разрозненности. Нет, неправда, что современная графиня, как новорожденное дитя, не знающее ни людей, ни их отношений, испугается губернаторского чиновника; неправда, что задумается посадить его. Современная графиня не так труслива и не так младенчески добродетельна. Не только в деревне, но и в Петербурге она примет чиновника с ласковым словом, с очаровательным взглядом, посадит и тогда, когда он будет не щегольски одет, протянет ему даже в ином случае, судя по важности дела, два нежные пальчика, согласно обычаю, перенятому нами у англичан. В деревне, особенно, графини не так недоступны и не так легкомысленны, как многие воображают. Там они становятся очень обходительны со всеми, кто нужен, расчетливы, иногда скупы; они, напротив, спешат знакомиться с полезными чиновниками и, должно сказать к чести современных графинь, часто умеют обделывать свои практические дела гораздо лучше, чем мужчины. Вы видите, что светская женщина на бале легка, как зефир, и верите ей! Такой взгляд *à vol d'oiseau* может вести к важным заблуждениям. Нет, это не графиня из нынешнего Петербурга или из нынешней Москвы, а маркиза из древних записок Saint-Simon. Виноват! маркизы были все-таки умнее нашей графини.

Надимов говорит графине великолепные фразы об отечестве, священном долге, самоотвержении и проч. Хороши ли они сами по себе, до этого художественной критике будет дело только тогда, когда она узнает, уместны ли, нужны ли здесь они. Кто этот Надимов? Зачем он здесь? О том ли он должен говорить, о чем теперь разглагольствует, рисуясь перед графинею? — Нет.

Нет? Так он говорит неуместно и фальшиво. Да и вообще имеет ли он право приписывать себе те качества, которыми хвалится? Чем он их доказал? — Ничем. Ничем? о, так он самохвал, ни больше ни меньше; а идея произведения требует, чтобы он был человеком дельным, — стало быть, его лицо противоречит идее комедии, оно противохудожественно, оно губит комедию.

Милая графиня не поняла ни единого слова. Да и на что ей рассуждения о службе? она переходит к вопросу, который ей ближе, к вопросу о счастье, к вопросу о любви, и если Надимов, для беседы с нею, забыл свою обязанность, то она, становясь на его место, превращается в чиновника, приступает к следствию и допрашивает немилосердно:

— А счастья вы не ищете? Кого же вы любите?

Надимов. Я-с, графиня? да я живу любовью, я постоянно счастлив в любви.

Графине становится это неприятно. Он живет уже, а не начинает жить; следовательно, эта любовь не относится к ней. Надимов продолжает:

— Да-с, я счастлив в любви с тех пор, как догадался, где надо искать ее. Я нашел такую любовь, на которую положиться можно, которая наверно и никогда не изменит.

Графиня. Какую же это?

И графиня и мы заинтересованы чрезвычайно. Любопытство наше возбуждено до неимоверности. Мы пылаем нетерпением узнать поскорее эту чудную женщину, ниспосланную небесами, в их благости, губернаторскому чиновнику, приехавшему по делу о затопленных лугах Дробинкина, эту восхитительную любовь, которая наверно и никогда не изменит. Надимов называет нам ее. Судите же о горечи нашего разочарованья! Это обман. Это не живая дама с миловидным лицом и в нарядном платье, а дама-идея, идея огромная, уничтожающая, это Россия.

— Любовь к нашему отечеству, любовь к России, — говорит Надимов. Этого чувства на всю жизнь хватит и с избытком даже.

И у графини и у нас опускаются руки. Надимов любит Россию и, как кажется, сколько это проглядывает из его слов, уверен немного во взаимности, хотя до него великие люди жаловались большею частью на холодность и неблагодарность отечества: Аристид был изгнан, Велисарий умерал с голоду. Любовь к России — чувство похвальное! Да, его хватит на целую жизнь и не на одну даже, это правда. Но зачем г. Надимов говорит об этом? зачем так торжественно, с таким лирическим вступлением? разве это какая-нибудь диковинка? разве любить Россию есть привилегия, дарованная исключительно ему и приобретенная какими-нибудь усилиями? разве предполагается, что графиня не любит тоже России? Давать чувствовать такое предположение было бы неучтиво. Разговор между образованными людьми основан на взаимных уступках, на взаимном благоволении друг другу. Графиня очень ограниченная женщина; но не может же Надимов сказать ей: я умен. Не может потому, что и графиня, какова она ни есть, должна приниматься за умную. Он умен, умна и она. Не хочет ли Надимов намекнуть ей, что вот Мисхорин, которого он сейчас видел, не любит России, а я люблю? Конечно, Мисхорин хотя щегольски, но несколько пестро одет; да, во-первых, Надимов не довольно хорошо его знает, а, во-вторых, ронять в мнении графини заочно кого бы то ни было не идет человеку щегольски и весьма просто одетому. Для чего же, повторяем, говорит г. Надимов о своей любви к России, если предполагается и должно по совести и из учтивости предположить, что любят ее и графиня и Мисхорин, и те, которые налицо, и те, которые еще за кулисами? Я люблю, а графиня скажет: и я люблю; после этого следует: ты любишь, мы любим. Что ж это за разговор? это повторение грамматики, спряжение действительного глагола и ничего более.

Любовь к отечеству не заслуга, не преимущество, не достоинство. Это

чувство инстинктивное, невольное. Любишь и потому, что не любить не можешь, и потому, что вне отечества никуда не годишься и никому не нужен. Не любить было бы гораздо мудренее, чем любить. Человек живет во времени и в пространстве, иначе на земле и жить нельзя. Отечество есть именно пространство, одно из условий его существования. Все, что в нас есть, духовный и физический состав, все образовалось на этой почве, в этом воздухе; все, что заимствовали мы из-под чужого неба, приобретено нами по милости той же почвы и того же воздуха. Да и кто не любит отечества? где эти люди, эти народы? есть такие, которые умирают с тоски по нем. Не станем прибегать к пошлым возгласам о благодарности: в любви к отечеству таится идея более существенная и более истинная — идея необходимости. Поэтому, покнем ли мы Петербург и выберем своей резиденцией город Усть-сысольск, определимся ли на службу в писцы станового пристава, или пойдем положить голову за Россию, нам всем равно любезную и равно дорогую, мы не имеем права становиться на ходули и высовываться из необозримой массы обыкновенных людей, провозглашая громко, что таем любовью к своему отечеству. Даже прибыв в имение графини или княгини, по жалобе Дробинкина о двух или трех стогах сена, мы должны совершить этот подвиг, не уверяя других, что спасаем Россию или приносим ей пользу. Этого требует чувство уважения к себе, чувство нравственного приличия, этого требуют и законы смешного. Вы вступили в должность муравья и тащите песчинку на огромную гору, — прекрасно, но что же из этого? неужели это должно послужить поводом к диссертации о любви к отечеству? Впрочем, г. Надимов и песчинки-то не тащит: до сих пор он только разговаривает; а как пример соблазнителен, то мы боимся, что в губернии, где он поселился, будет большое запущение в делах. Все закипая любовью и перестанут писать. Видно, любовь, даже и к отечеству, отвлекает человека от занятий. Но, нам скажут, он отказался от удовольствий столицы, пренебрег наслаждениями богатства, заехал в какую-то трущобу, принес жертву. Это опять не исключительное положение. Заметим мимоходом, что в губерниях служит много чиновников, которые и жила в Петербурге, и богаты, и путешествовали. Что касается до жертвы, тут вопрос важнее. Чтоб жертва получила общественное значение, для этого нужны ее плоды, нужно не собственное мнение, а мнение других. Иногда нет средства отличить черту самоотвержения от побуждений эгоизма. Приехать из Петербурга в губернию можно от сплина, от нечего делать, от неудач, из мелкого честолюбия выказывать себя. Г. Надимов любит как-то огромно. Любить всю Россию не легко. Отчего бы не ограничиться какою-нибудь из ее частей? Полюбить бы хоть одну губернию. Россия так обширна, что есть из чего выбрать. Вот, например, в эту минуту, как он изъясняется в своей нежности к целому, части этого целого, то есть понятые или окольные люди, без которых нельзя составить законного удостоверения о затопленных лугах, лежат на траве или сидят, пригорюнившись, у конторы на завалине, оторванные от своих работ, в ожидании, когда будет угодно губернскому чиновнику спросить их, бог знает зачем и бог знает о чем. Они, вероятно, также любят Россию, но, одаренные большим знанием светских условий, любят молча. — Мы говорили до сих пор, не касаясь важного опровержения, которое может быть нам сделано. Г. Надимов может возразить, что его любовь особенного рода, не та, какую мы излагали: он любит лучше и разумнее, чем эти несчетные миллионы людей. Точно, инстинктивное чувство любви к отечеству переходит иногда в другую, высшую степень, в сознание, возводится в идею, и, правда, человек приобретает право сказать громко: я люблю Россию. Но за это право должно заплатить дорого. Оно дается не многим. Это достоинство исторических лиц, способствовавших развитию, просвещению, благоденствию и славе отечества. Тут любить мало: надо еще уметь любить, надо видеть ясно цель, куда любовь ведет, и находить в душе своей средства для достижения цели. Надо знать, почему люблю и для чего люблю. Тут уже все помыслы человека, все его штрихи, все действия обращены на служение одной, всепоглощающей идее. С ним уже не беспокойтесь, не наряжайте графинь и не

ставьте бронзовых безделок на их столики. Для него и нарядна, и прекрасна, и молода одна Россия. Ее только образ будет носиться у его изголовья. Да, существует любовь разумная, любовь не инстинктивная, любовь-идея, но много ли сердец, способных биться ею?

Вот это можно, действительно, назвать художественною критикою. Таких статей не могут писать Надимовы, будут ли чиновниками или драматургами, или критиками. Против таких разборов они не устоят. Тут говорит человек, и имеет право говорить, потому что понимает, в чем дело, и, между прочим, понимает, что такое художественность и чего надобно требовать от литературного произведения. Больше таких статей давайте нам, господа русские критики, и вы увидите, будет ли уважать вас публика. Вы, быть может, умеете хорошо писать,—публика не знает этого, потому что — греха нечего таить — она не читала ваших мнимохудожественных разборов, быть может, и прекрасно написанных. Не читала потому, что вы думали, будто можно заинтересовать ее рассуждениями об узорах, цветочках и кудерьках. Как бы хороши ни были эти кудерьки и узоры, и какими бы красными словами, какими бы кружевными периодами ни объяснялись их грациозные изгибы и хитросплетения, какое кому дело до всех этих прикрас?

У вас, быть может, есть талант и вкус. Вы думали, что этого довольно. Нет, кроме того, нужна дельная мысль, нужно знание дела. Вы пишете хорошо, и вас никто не поблагодарил ни одним словом за все ваши красноречивые страницы, и вы сами не были довольны друг другом: так сильна потребность дела и правды, что даже мысль: «он занят тем же, чем я», не могла пересилить в вас сознания: «он занят пустяками». И вот, сравните с своими искусными периодами те простые или, быть может, даже неловко написанные отрывки, которые мы приводим ниже, и скажите: не в тысячу ли раз живее и лучше красноречивых рассуждений о художественности токарных изделий и филигранных прикрас эти небрежные, чуждые литературной отделки слова? Отчего ж разница? Ведь предметы, о которых вы пишете, гораздо живее и интереснее, нежели сухие вопросы, о которых идет там речь? Ведь вы пишете о поэзии, и ведь в поэзии жизнь и страсть — и, однако же, все, и вы сами первые, дремали и умирали от скуки над этими толками о поэзии. А вот люди, которые и не претендуют равняться с вами в искусстве сочинительства, пишут о предметах гораздо менее увлекательных — о воспитании детей, о должности старшего офицера на каком-нибудь фрегате: кажется, читателю позволительно бы зевнуть над рассуждениями о таких сухих материях, и, однако ж, кто не пробежит с интересом тех выписок, которые мы сейчас приведем? Отчего ж это? Едва ли не оттого, что слова этих людей служат выражением дельной мысли, а не прикрытием пустоты.

— Кстати, «Морской сборник», о котором часто случается

слышать разговоры в обществе, и разговоры всегда в одном и том же духе полной признательности к замечательным достоинствам этого издания, без сомнения, занимающего первое место между нашими специальными журналами, — в последнее время приобрел еще более живости и разнообразия. Мы не будем перечислять всех заслуживших одобрение публики статей его, а хотим только заметить одну из тех особенностей, которые наиболее содействуют оживлению журнала. Нередко в нем помещается целый ряд статей об одном и том же предмете, писанных различными авторами, смотрящими на вопрос с разных точек зрения: один предлагает на обсуждение своим сотоварищам по занятию мысли, внушенные ему опытом жизни и службы; другой разбирает эти мысли, приводит новые доказательства в подтверждение их или делает замечания, возражения; автор статьи, подавшей повод к этим замечаниям, выражает о них свое мнение, признавая их справедливость или разъясняя те пункты, которые первою статьею не были определены с достаточною подробностью. Иногда и еще новые лица принимают участие в этой беседе, которая всегда ведется в «Морском сборнике» со всею откровенностью литературного дела и со всею деликатностью разговора людей, просвещенных наукою и житейскою опытностью. Ни с той, ни с другой стороны не бывает ни ложных уступок из лицеприятия, ни полемического увлечения: каждый говорит твердо и вместе спокойно. Таким образом, мнение одного разъясняется и дополняется мнением другого, и одна только несомненная истина остается результатом беседы, иногда очень живой и занимательной. Мы укажем два случая, которые могут служить прекрасными примерами пользы, доставляемой истине откровенным разменом мыслей.

В одном деле идет о вопросе, общем для всех, — о воспитании; другой ближайшим образом относится к морскому делу, но имеет своим предметом отношения, повторяющиеся во всех сферах общественной жизни, и потому едва ли уступает первому своим интересом для каждого читателя, к какому бы званию ни принадлежал этот читатель.

В № 1-м «Морского сборника» за нынешний год была помещена статья г. Бема «О воспитании», написанная прекрасно. Автор с большим знанием дела говорил о цели воспитания, об отношениях семейного воспитания к общественному, о том, какие предметы должны входить в круг общего преподавания, и о степени относительной важности каждого из них, о различных методах преподавания и воспитания. Из людей, прочитавших это рассуждение, почти каждому, — в том числе, признаемся, и нам, — казалось, что статья касается всех главных сторон предмета, и что если можно о том или другом из объясненных автором вопросов думать не совершенно одинаково с ним, то едва ли можно указать вопрос, которого он не коснулся бы. Но в предисловии к статье

г. Бема Морской ученый комитет, заведующий изданием «Сборника», предлагал каждому читателю высказать свое мнение об этом важном для всех предмете. «Морской ученый комитет, — говорило предисловие, — обращается ко всем, кому дорого отечественное воспитание, особенно же к родителям и воспитателям, с покорнейшею просьбою о доставлении в редакцию «Сборника» своих замечаний, возражений, взглядов по поводу этой статьи, имеющей предметом одну из насущнейших потребностей всякого, а тем более — еще юного — русского общества».

Приглашение, сделанное так благородно, не осталось без ответа, и в следующих книжках «Морского сборника» явилось несколько статей по поводу рассуждения г. Бема. Мы не будем рассматривать достоинств или недостатков каждой из них: наша речь клонится только к тому, чтобы сказать, что в одной из этих статей была указана совершенно новая точка зрения на предмет, была выставлена на вид истина, о которой слишком часто забывают, но которая имеет существеннейшую важность в этом деле. Заслуга напомнить об этой истине принадлежит г. Далу. Его «Мысли по поводу статьи: о воспитании», напечатанные в майской книге «Морского сборника», заслуживают величайшего внимания, как по своей справедливости, так и по редкой откровенности, с какою сообщил он нам результаты своей известной наблюдательности. Вот отрывки его прекрасного размышления, или, скорее, рассказа:

Не столько в сочинениях о воспитании, сколько на деле, весьма нередко упускается из виду безделица, которая, однако же, не в пример важнее и полновеснее всего остального: *воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника*, или, по крайней мере, должен искренно и умирительно желать быть таким и всеми силами к тому стремиться.

Проследите же несколько за нравственною жизнью воспитателей, познайте, с какою искренностью и с каким убеждением они следуют не на словах, а на деле своему учению, и у вас будет мерило для надежд ваших на все их успехи.

Если бы, например, воспитанники, по общей молве, рассказывали друг другу, что-де такой-то воспитатель наш беспутно промотал все, и свое и чужое, и спасся от окончательного крушения в мирной пристани, в заведении, при котором состоит, не отказываясь, впрочем, и ныне кутнуть на чужой счет, где случай представится, — но делает это очень ловко, осторожно и скрытно; если бы говорили о другом, что он, как хороший хозяин, был в свое время всегда избираем товарищами для заведывания общим столом и также счел за лучшее удалиться под конец с этого поприща и от доверчивых товарищей и вступить в новый и более чужой круг: если бы рассказывали о третьем, что он ставит в поведении полные баллы всем воспитанникам, которые не берут казенных сапогов, а ходят в своих; о четвертом, что беседуя в классах о разных пустяках, при внезапном входе начальника, с удивительным спокойствием и находчивостью продолжает беседу тем же голосом, и тем же выражением, но отрывая прежнее пустословие свое на половине слова, переходя к продолжению преподавания, которого прежде того и не начинал — словом, если бы воспитанники были такого или подобного мнения о воспитателях своих: каких вы бы ожидали от того последствий? Поверите ли вы, что из рук таких воспитателей выйдут молодые люди высокой нравственности, благородные, правдивые?

Что вы хотите сделать из ребенка? Правдивого, честно, дельного человека, который думал бы не столько об удобстве и выгодах личности своей, сколько о пользе общей, — не так ли? Будьте же сами такими: другого наставления вам не нужно. Незримое, но и неотразимое, постоянное влияние вашего благодушия победит зародыши зла и постепенно изгонит их. Если же вы должны сознаться, в самом заветном тайнике души своей, что правила ваши шатки, слова и поступки не одинаковы, приравниваясь к обстоятельствам, что облыжность свою вы оправдываете словами: живут же люди неправдой, так и нам не лопнуть статься; что вы наконец и в воспитатели попали потому только, что без хлеба и без места жить нельзя, словом: если вы в тайнике совести своей должны сознаться, что вы желаете сделать из воспитанника своего совсем не то, что вышло из вас, добрый человек, вы в воспитатели не годитесь, каких бы наставлений вы ни придерживались, чего бы ни начинались. Не берите этого греха на душу; несите с собой, что запасли, и отвечайте за себя.

Если бы, например, воспитатель по врожденным или наследственным свойствам своим, на деле, стоял на трех сваях — авось, небось да как-нибудь — а на словах неумолчно проповедывал: добросовестность, порядок и основательность, то что бы из этого вышло? Верьте мне, и воспитанники его станут, в свою очередь, поучать хорошо, а делать худо.

Если бы воспитатель не находил в себе самом основательных причин, для чего ему отказываться от обычных средств жизни, то есть: прокармливая казенного воробья, прокормишь и свою коровушку, то какие убеждения он в этом отношении невольно и неминуемо передаст воспитаннику?

Если бы воспитатель свыкся и сжился, может быть, и бессознательно, с правилом: не за то бьют, что украл, а за то, чтоб не попадался, то какие понятия он об этом передаст другому, младшему? Какие правила, конспекты, программы, курсы и наставления на бумаге и на словах могут совершить такое чудо, чтобы воспитанники со временем держались понятий и убеждений противоположных?

Всего этого к коже не пришьешь. Если остричь шипы на дичке, чтобы он с виду походил на садовую яблоню, то от этого не даст он лучшего плода: все тот же горько-слад, та же кислица. Надобно, чтобы прививка принялась и пустила корень до самой сердцевины дерева, как оно пускает свой корень в землю.

С чего вы взяли, будто из ребенка можно сделать все, что вам угодно, наставлениями, поучениями, приказаниями и наказаниями? — Внешними усилиями можно переделать одну только наружность. Топором можно оболванить как угодно полешко, можно даже выстрогать его, подкрасить и покрыть лаком, но древесина от этого не изменится: полено в сущности осталось поленом.

Воспитатель должен видеть в мальчике живое существо, созданное по образу и подобию творца, с разумом и со свободной волей. Задача состоит не в том, чтобы изнасиловать и пригнети все порывы своеволия, представляя им скрытно мужать под обманчивую наружность и вспыхнуть со временем на просторе и свободе: нет! задача эта вот такая: примером на деле и убеждениями, текущими прямо из души, заставить мальчика понять высокое призвание свое, как человека, как подданного, как гражданина, заставить страстно полюбить — как любит сам воспитатель, не более того — бога и человека, а стало быть, и жить в любви этой не столько для себя, сколько для других...

Мальчик, сызмала охочий копаться над какою-нибудь ручной работой, слушая в заведении, где воспитывался, физику, вздумал сам построить электрическую машину. В течение нескольких месяцев собирал он и копил гривенные доходы свои и, отправившись на каникулы к дяде, с жаром принялся за это дело. И спит и видит свою машину. Накупив на толкучем несколько стеклянных стоек — остатки какой-то великолепной люстры или паникадила, и разбитое зеркало толстого стекла, он около двух недель про-

возился за обделкой его, чтобы, чуть не голыми пальцами да зубами, округлить стекло, обтереть или обточить его и просверлить в середине дыру. С этим-то запасом подмышкой он, по окончании каникул, отправился обратно в заведение счастливый и довольный, и, притом, пеший, потому что гривенник, отпускаемый ему на извозчика, ушел на строительные припасы.

Ему надо было пройти Исакиевскую площадь. Только что успел он поровняться с домом, стоявшим тогда рядом с домом графини Лаваль, как над ним раздался громкий голос: «Мальчик! Эй мальчик! поди сюда!» Взглянув на помянутый дом, мальчик наш встретил в растворенной форточке знакомое и страшное лицо воспитателя, которому, однако же, он лично знаком не был, и прозвания он его не знал, потому что был из другого класса. «Поди сюда, мерзавец! что ты это несешь?» Робкий детский голос пробормотал что-то неслышное при стуке карет по мостовой. Тот, перекрикивая и стук карет этих, повторил вопрос свой до нескольких раз и, наконец, рассыпавшись бранью, приказывал самым настоящим образом бросить стекло и сверток на мостовую. «Брось! брось сейчас, мерзавец!» кричал он, выходя из себя, а пойманный с поличным стоял навытяжку неподвижно под окном, хлопая глазами, молчал, но стекло свое крепко прижимал подмышку. Расстаться с этим стеклом, бросить его на мостовую — это вовсе не вмещалось в голову мальчика, он слов этих не понимал. «Так я ж тебя!» закричал тот в отчаянном негодовании своим и, захлопнув форточку, вероятно, поспешил насчет поимки и представления под караул ослушника. Но этот бедняк, с электрическою машиной подмышкой, сам не зная, что делает, бросился без памяти бежать в Галерную улицу, кинулся на первого извозчика, дрожа всем телом, переправился на перевоз, запрятал стекло с принадлежностями в самое скрытное, никому не доступное место, и только через месяц, когда всякая молва и розыски по этому страшному делу миновали, снова принялся за работу и благополучно окончил свое произведение.

Помяну еще о другом случае.

В то время, в заведении, где мы воспитывались, в Новый год всегда давался маскарад, на который мы являлись — готовясь к этому задолго — в шпалерных кафтанах, пеньковых париках и бумажных латах, со львиными головами на оплечьях, из хлебного мякиша. Почти каждая рота изготовляла тайком и приносила в маскарадную залу свою пирамиду — великолепное бумажное здание, расписанное и раскрашенное, пропитанное маслом и освещенное изнутри, где бедный фонащик сидел, как в бане, задыхаясь от жару и чаду. Я сказал не без умысла: «изготовляла тайком», — пирамиды эти строились очень скрытно и тайно, не столько ради нечаянности, как ради того, что подобное занятие — как вообще всякая забава или занятие, подающее повод к отвлечению от учения и к неопрятности и сору в спальнях — строго запрещалось. Между тем, когда, с крайним страхом и опасением, удавалось скрытно окончить такое бумажное египетское произведение к сроку, принести и поставить его на место и осветить, то все воспитатели низших, средних и высших разрядов не без удовольствия ходили вокруг бременного памятника, отыскивали и свои вензеля, с иносказательными венками и украшениями, любовались этим и громко хвалили художников, отдавая преимущество той или другой роте.

Вы спросите, может быть, какой же смысл и толк в поступках этих? — а вот, послушаем дальше.

Вторая рота отличалась два или три года сряду огромностью и изяществом своей пирамиды: в первой роте составлен был заговор перещеголять на этот раз вторую. Сделали общий сбор. Гроши и гривны посыпались отовсюду. Помню, что один мальчик, вовсе безденежный, не захотел, однако же, отстать от товарищей и, продав богачам утреннюю булку свою за три дня, по грошу каждую, внес три гроша в общественное казначейство. Опытные художники взялись за дело. Изготовленная лучина отнесена была на чердак, картузная бумага была склеена, выкроена и скатана, чтобы удобнее было ее спрятать; вырезки разных видов для картин, вензелей и украшений

розданы для работы по рукам, и каждый прятал свою у себя, как и где мог, чтобы не возбудить подозрения. Все принялись за работу так дружно, так усердно, что недели за две или за три до срока знаменитая пирамида поспела. Надо было собрать лучинковые леса, пригнать чехол, и, наконец, оставалось только смазать маслом просветы.

Но в декабре на чердаке холодно, особенно в одной куртке. Решено было собрать пирамиду наскоро в *умывальне*, в такое время, когда нельзя было ожидать прихода воспитателя, и, притом, расставив, из предосторожности, часовых, как делают журавли, воруя хлеб, да обезьяны, опустошая сады и огороды. Беготня, суматоха, крик, радость — у главных зодчих более десяти помощников, у каждого помощника по десяти подносчиков — дело кипит... но внезапно входит дежурный воспитатель, которого называли внуком тогдашнего директора и очень боялись... Не берусь описывать подробностей происшедшего побойца; негодование, неистовство этого человека превзошло всякое понятие. Много розг было охлестано тут же, на месте — это бы еще ничего — да беспримерное в летописях маскарадных здание, пирамида в семь аршин вышины, была изломана, истоптана ногами и сожжена тут же в печи.

Однако, почесав затылки, погоревав и опомнившись, предприимчивые и решительные строители не упали духом: давай собирать что осталось; иное было тут и там, иное успели во-время выхватить и спасти от конечного истребления, и — через неделю поспела новая пирамида, ни в чем не уступавшая первой. Она красовалась на маскараде 31 декабря 1817 года. Первенство осталось на сей раз за нею, за первой ротой. Это подтвердили все, обходящая вокруг и любящая необыкновенно пестрыми и кудрявыми вензелями. Подтвердил даже и сам внук директора, который был так незлопамятен, что, во уважение общей радости и удовольствия на маскараде, и не поминал о том участии, какое принимал он в сооружении этого знаменитого здания.

Теперь, кончив рассказ, я вас спрошу: что это такое? чего вы ожидаете от такого воспитателя? Но вы опять отвечаете мне, что это либо выдумка злословия, либо пример, который в пример не годится, потому что представляет неслыханное исключение. Итак, возьмем что-нибудь обиходное.

Начальник, при воспитанике, спрашивает в сомнении: исполняется ли такое-то правило, или приказание? И воспитатель удостоверяет его в этом самым положительным образом, не смигивая глазом, хотя и лжет наголо.

Воспитанник знал дома два чужих языка и позабыл их в заведении наполеону, а воспитатель уверяет радушного посетителя на испытании, что мальчик выучился этим языкам здесь.

Воспитатель ходит в церковь или водит туда мальчиков по положению, при начальнике даже много и часто крестится, но понятия и убеждения его о вере и вечности не могут укрыться от тех, с кем он проводил по несколько часов в день, если бы это и были малолетки. Облыжность, ханжество, бесчестность, самбичество, в каких бы мелких и скрытных видах и размерах оно ни проявлялось, прилипчивее чумы и поражает вокруг себя все, что не бежит без оглядки. Но, может быть, всего этого нет и не бывало и быть не может, все это выдумка и клевета? Вот такое-то отрицательное направление нас и губит; донесения о *благополучии* ослепительны, как вешний снег.

Не будем спорить, я ищу и желаю совсем иного. Выкиньте все примеры мои, как непригодные к делу, и вставьте свои, то есть случаи, вам самим известные. Поройтесь в памяти: вы их найдете. Подведите к ним мое или, пожалуй, также свое заключение — и оно ничем не будет разниться от того, что сказано, по глубокому и полному убеждению, в этой статейке.

Воспитатель, в отношении нравственном, сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника, — по крайней мере, должен искренно и умиленно желать быть таким и всеми силами к тому стремиться.

Но вы скажете: ангелов совершенства нет на земле, мы все люди; для

того-то я, сказав: «Воспитатель должен быть таким», прибавил: «или искренно хотеть быть таким и всеми силами к тому стремиться». Будь же он прямым и правдивым, желай и ищи добра: этого довольно. Ищи он случая в присутствии воспитанников, но без похвалы, без малейшего тщеславия, сознаваться в ошибках своих, — и один подобный пример направит на добрый путь десятки малолетков.

Вот в чем заключается наука нравственного воспитания.

Не менее статьи г. Даля интересны замечания неизвестного автора, подписавшегося буквою П., об обязанностях старшего офицера на корабле. Г. П. в одной из книжек «Морского сборника» выразил свое мнение, что одним из необходимейших качеств старшего офицера должна быть деликатность в обращении с младшими офицерами. Г. Н. Р. сделал на это несколько возражений, которые тоже помещены были в «Морском сборнике». В последней (июньской) книжке этого журнала г. П. отвечает своему противнику следующим образом:

Старший офицер должен быть человек опытный, привыкший жить на свете и обращаться с людьми, — человек, обладающий этим качеством, редко позволит себе забыть, редко отступит от однажды принятого правила. Он очень хорошо понимает, как сильно должно быть его моральное влияние на подчиненных, и потому-то именно будет осторожен не только в своих действиях, но и в каждом выражении, в каждом слове. И это вовсе не так трудно, как кажется с первого взгляда: все дело заключается в привычке, и наконец эта привычка так сродняется с человеком, что он иначе и действовать не может. Конечно, основательный старший офицер не сделает, например, такого промаха: однажды, на одном из военных судов, стоявшем на якоре, старший офицер вышел наверх и обратился с вопросом к вахтенному лейтенанту, где находится их десятка.

— Держится у форштевня, подкрашивает потоки под ключами, — отвечал вахтенный лейтенант.

— Так ли это? — заметил старший офицер.

— Если я говорю, значит, уверен в этом, — отвечал лейтенант.

Однако ж, старший офицер не удовольствовался этим ответом и тут же, подозревая вахтенного урядника, спросил его, где десятка и что она делает. Пусть г. Н. Р. скажет по совести, имел ли право вахтенный лейтенант обидеться такой выходкой старшего офицера. И он, действительно обиделся; в то время старшему офицеру не сказал ни слова, но тогда же, в кают-компаний, рассказал, да и в настоящее время рассказывает всем этот случай, конечно, уже не с тем, чтобы похвалить старшего офицера. И точно, этот старший офицер подобными выходками дошел до того, что офицеры терпеть его не могли и искали случая не служить с ним на одном судне. Каким бы запасом снисходительности ни был наделен вахтенный лейтенант, от подобных проделок всякий запас истощится. Я рассказал факт в пример тем случаям, которые бывают у нас сплошь и рядом. Замечательно, что если некоторые делают подобные вещи с умыслом, из какого-то странного расчета, то есть многие, которые поступают точно так же бессознательно, не думая о том, что они делают.

Напрасно также г. Р. старается убедить, что младшие должны быть снисходительны к старшим и извинять им их ошибки. Это теория, которую мы слышим постоянно уже много лет и слушаем именно, как теорию, которая по несчастью, как это часто бывает, вовсе не сходит с практикой. Старшие, как люди опытные, имеют несравненно больший запас рассудительности. Вспоминая свои молодые годы, случаи, в которых сами они иногда находились, они всегда и от души извинят молодого офицера за его ошибки, за минутную горячность. Напротив того, любой офицер, еще

не наученный опытом, не в состоянии владеть собою так, чтобы скоро мог справиться с затронутым самолюбием, с раздраженной щекотливостью. Ему постоянно кажется, что его оскорбляют умышленно, что хотят отнять у него частичку его прав, взять над ним моральный перевес или, как они выражаются, сесть на шю, и этого молодой человек не прощает своему начальнику. Если к этому он еще находчив и скор на ответы, то начальник необходимо должен быть с ним как можно осторожнее в выражениях, замечание или выговор делать без всяких излишних комментариев, чтобы не наткнуться на ответ, на который, в свою очередь, не скоро найдешь возражение. Забудь старший офицер или командир систему хладнокровия и спокойного достоинства, и с ним могут быть случаи вроде следующего. На одном из судов, во время плавания, понадобилось сделать какое-то исправление за бортом, около шкафута. Для этого нужно было подвесить за бортом люк, и исполнение этой работы поручили стоявшему на баке вахтенному мичману. Мичман, очень милый и образованный молодой человек, быстрый и находчивый на ответы, но еще очень неопытный в морском деле, привыкший служить спустя рукава, приказал принести люк и, поручив нескольким матросам подвесить его, как было нужно, сам продолжал очень спокойно прогуливаться по шкафуту, равнодушно поглядывая на работающих матросов. Само собою разумеется, что матросы, не видя за собою присмотра, не находили нужным торопиться и занимались работой своей соп атоге*, с приличными разговорами. Но как всякая работа должна когда-нибудь кончиться, то и тут, минут через пятнадцать, концы были привязаны, и люк опустился за борт. К несчастью, в разговорах, матросы не обратили внимания на то, как привязывали концы, и люк, спущенный за борт, моментально перевернулся на ребро. Конечно, между матросами не обошлось без попреканий: Сидор упрекал Матиску, тот сваливал вину на Захарку. Как бы то ни было, а пришлось люк снова вытащить на палубу и перевязать концы. На судне этом имел флаг один из уважаемых всеми адмиралов, славный офицер и превосходный человек, но вспыльчивого, горячего характера, привыкший видеть с молодых лет, что на военном судне всякая, даже пустая работа выполняется быстро и отчетливо. Стоя на юте, адмирал долго следил за сделкою с несчастным люком, но удерживался, ожидая, чем кончится эта история. Когда люк перевернулся и его снова потащили на палубу, адмирал не выдержал: взбешенный равнодушием молодого мичмана, он в два прыжка уже был на шкафуте и, обращаясь к мичману, с досадой, быстро спросил его: «Если работа, которая на каждом порядочном судне кончается в пять минут, здесь делается в полчаса, то такая работа, на которую там понадобится полчаса, здесь во сколько времени будет кончена?..» — «В три часа!» — отвечал спокойно мичман. — «Не разговаривать!» — крикнул адмирал и, быстро повернувшись, ушел в каюту, между тем как находившиеся наверху офицеры едва удерживались от смеха, возбуждаемого в них таким быстрым и неожиданным решением арифметической задачи. Случай этот долго был предметом разговоров в кают-компании, и, конечно, молодому мичману не было недостатка в поощрениях и похвалах со стороны товарищей; а, между тем, подобные случаи непременно ведут к упадку дисциплины. Проще было бы призвать молодого мичмана на шканцы и, не задавая вопросов тройного правила, сделать выговор, и, пожалуй, чтобы разбудить или возбудить его деятельность, заставить его облазить все марсы и салинги, чтобы осмотреть, все ли там в порядке. Вот это я называю: не тратить даром слов, а во-время употребить власть.

Понуканье людей криком: «живей!» неминуемо поведет к шуму. Я объяснял уже, что если работа не выполняется моментально, то этому должна быть какая-нибудь причина и, тогда сколько ни кричите, дело скорее не сделается. Однако ж, при обыкновенных случаях, вахтенный лейтенант, видя, что люди работают вяло, конечно, не только может, но и должен их

* С любовью. — Ред.

торопить. Пусть же и будет слышен только его голос, а старшему офицеру кричать незачем; он может подсказать вахтенному лейтенанту, что работа идет вяло, и приказать ему прикрикнуть на матросов. Плохие результаты бывают, когда все имеющие на то право начнут возвышать голос и кричать: «живей!» Того и гляди, что повторится случай, бывший на корабле, где, во время уборки парусов, один из лучших матросов упал с грот-брам-реи на палубу и разбился вдребезги, и это произошло от того, что, начиная с адмирала, все сердились, кричали: «живей!», заторопили, засуетили матросов, и марсовые бросились крепить брамсель прежде, нежели внизу успели выбрать на марки брам-брасы, так что рей ходил холодуном; а брам-брасы не выбрали во-время потому, что все суетились, и, желая показать свое рвение, вертелись перед глазами начальников, а о важных вещах забыли, как это обыкновенно бывает.

Надо надеяться, что в настоящее время подобные примеры будут реже с каждым годом: дела не могут остаться в таком положении; но я говорю о том, чему все мы, еще очень недавно, были очевидными свидетелями.

Июль 1856 года.

Много хорошего представляет нам наша литература. Мы можем быть недовольны в ней тем, другим, можем из-за того иногда даже досадовать на нее, даже выражать свою досаду на ее несовершенства горькими упреками, — а все-таки много в ней хорошего, все-таки большею частью лучших минут своей жизни каждый из нас обязан тем высоким наслаждениям, тем благородным чувствам, которые доставляла ему литература, все-таки литературная сторона нашей жизни — самая живая и самая светлая сторона ее...

А скажите, чем выразили мы свою признательность тем людям, которые вложили жизнь в нашу литературу?

Эти мысли разбудил во мне недавний случай.

На-днях привелось мне быть на кладбище. Оно зеленело, могилы пестрели цветами, играла молодая жизнь на гробах, и сияла природа вечной красотой, по выражению поэта. Несколько грустных, толпы равнодушных лиц встречались мне: одни пришли навестить близких, другие — и большая часть — от нечего делать, полюбоваться на памятники. Мне было тяжело. Я шел дальше и дальше, из аристократической части кладбища, туда, где лежат бедняки. Реже и реже перерывались мраморными и чугуниными памятниками ряды крестов, реже и реже встречались люди. Вот я в краю кладбища, совершенно пустом и безмолвном. Погруженный в мысли, я машинально брел по пустынным тропинкам... я забылся... Вдруг чей-то твердый и полный какой-то торжественности голос вызвал меня из раздумья.

— Вот могила NN, которой хотел ты поклониться¹.

Я поднял глаза: перед простым черным крестом остановились, шедшие по другой тропинке, поперек моей дороги, двое мужчин: старший, человек лет сорока пяти, указывал взглядом этот крест младшему, юноше лет двадцати.

«Так вот она, могила моего бедного друга, которую так напрасно искал я много раз, о которой напрасно спрашивал общих наших знакомых, бывших здесь во время его смерти!»

Я подошел ближе. На кресте было, действительно, написано имя моего покойного друга. Вместе с юношей, я поклонился этой могиле.

— А! вы тоже уважаете NN! — сказал мне старший: — да, это был человек, как говорит Гамлет. Вот, сын уж давно просил меня показать ему это место, — да я насилу мог отыскать; а через пять лет и вовсе нельзя будет найти: видите, крест уж пошатнулся. И над могилой такого человека нет памятника!

Мне стало неловко и стыдно за себя и за всех нас, так много, так бесконечно много обязанных этому другу... Без посторонней помощи я не мог бы найти и могилы его, а через пять лет и не найдет его могилы юноша, ставший человеком, благодаря ему...

Кто ж этот покойник? что ж особенного сделал он, что отец привел сына поклониться его могиле? Вы угадываете, кто был он: просто, писатель, не более, как писатель, всю жизнь оставшийся ничтожным бедняком. Он только мыслил и писал, — более он ничего не делал, даже не сделал себе порядочной карьеры, даже не приобрел себе обеспечения в жизни, даже славы — так ему казалось — не приобрел своему имени... и действительно, в последнем случае едва ли не был он прав: ни от кого не слышал он себе привета и ободрения; только небольшой кружок преданных ему людей благоговел перед его светлым умом, перед его благородным сердцем, да публика любила то, что писал он, не заботясь и почти не зная о том, кем это писано. Да, пожалуй, и славы не приобрел он себе, — по крайней мере, при жизни.

Так; но тысячи людей сделались людьми, благодаря ему. Целое поколение воспитано им. А слава? многие стали славны только потому, что он упомянул о них, многие другие только потому, что успели понять две-три его мысли. Другие, лучшие, стали славны потому, что учились у него, пользовались его советами. И когда я перечитываю наши нынешние журналы, я всегда вспоминаю о нем. Вот ученая статья — она производит эффект в публике, приобретает автору уважение в кругу ученых — отчего это? оттого, что она писана под влиянием его мысли, писана на тему, которую и указал и объяснил он; вот критическая статья, которую называют все умною и благородною, — опять-таки все, что есть в ней хорошего, подсказано им, и автор не считает нужным даже намекнуть о том; напротив, он даже усиливается говорить о нем свысока, как о человеке, правда, умном, но увлекавшемся, малообразованном и поверхностном: видно, чувствует автор, что нужно ему отстранить это имя, чтобы казаться самому чем-нибудь; видно, знает автор, что при нем он ничто. Вот повесть, которую называют прекрасною — опять это только плод его уче-

ния: он указал и мысль и форму, в которую должна облечься эта мысль... Повсюду он! Им до сих пор живет наша литература!..

А что сделали мы, литераторы, в доказательство своей признательности к тому, кто был общим воспитателем всех лучших между нами? Ровно ничего. Мы не потрудились даже подумать, что потомство обвинит нас, когда не отыщет его бедной могилы².

Я не осуждаю его друзей. Пусть они извиняются человеческою слабостью — в самом деле, их можно было извинять. Он умер во время страшной болезни, когда каждый трепетал за себя, когда никто не был уверен поутру, что доживет до вечера. В боязни за себя, они могли забыть о нем — о чужих ли могилах думать, когда самому надобно готовиться к ответу за свою жизнь?³

Но потом, когда болезнь миновалась, когда сердца успокоились от страха грозившей каждому опасности, можно бы вспомнить о том, кому каждый обязан своим нравственным развитием и своею известностью, если имеет ее.

Нет, видно, у каждого из его друзей так много личных забот, что некогда приняться за исполнение обязанностей, возлагаемых признательностью.

Впрочем, что за беда, если тесный кружок людей близких не хочет вспомнить о том? Есть у него другие друзья, более многочисленные и более верные: его читатели. Теперь они знают, кому обязаны оживлением нашей литературы; теперь они чаще и чаще говорят о нем. Они исполняют то, что не было в свое время исполнено друзьями его.

Публика? — будто публика, в самом деле, так свято исполняет всегда долг признательности? Не случается ли и ей ограничиваться только прекрасными словами, не приводя их в исполнение? Ведь вот скоро двадцать лет минует с кончины Пушкина: двадцать лет каждый с благоговением называет его основателем новой нашей литературы и говорит о нем с таким прекрасным, с таким святым жаром, — а где памятник великому поэту, которого, кажется, все признают достойным вечной славы?⁴

Литература наша, невзирая на все свои недостатки, представляет много хорошего, — это факт, которого нельзя отрицать, с каким бы скептицизмом ни смотреть на нее. В прошлый раз мы говорили о прекрасном начале обширной статьи, написанной г. Павловым по поводу комедии графа Соллогуба. Начало казалось нам так хорошо, что, признаемся, мы не без некоторого опасения за свое впечатление стали читать окончание этой статьи, помещенное в 14-ой книжке «Русского вестника». Тон, взятый автором, был так силен и высок, что нелегко было выдержать его до конца.

Но чтение статьи самым отрядным образом опровергло эти

сомнения: вторая половина разбора еще лучше, если только возможно, нежели первая. В первой части статьи разбор остановился на той сцене комедии, с которой начинаются служебные подвиги злополучного Надимова,— во второй статье все внимание критика обращено на них. В каждой сцене оказывается, что с художественной точки зрения поступки г. Надимова разрушают всякое правдоподобие в комедии, которая гибнет через него в литературном смысле, и, в дополнение к тому, со «Сводом законов» в руке критик доказывает, что каждое слово, каждое понятие этого самохвала, мнимого чиновника, законопреступно, отчасти по незнанию закона, еще чаще по неуважению к нему, в угождение варварским понятиям, в которых он, сам того не замечая, совершенно сходится со взяточниками, потому что личные свои желания и пристрастия ставит выше закона. И когда, в своем забавном тщеславии, Надимов оскорбляется тем, что ему предлагают взятку, критик охлаждает его неосновательное негодование словами: «Да ведь вы, г. Надимов, ведете себя, как взяточник,— ведь вы ясно выказываете пристрастие к одной из тяжущихся сторон, не хотели выслушивать объяснений противника, старались запугать этого противника, брали на себя власть выше той, какая дана вам законом, вы отдаете под суд людей, которые по закону не подвергли себя судебному следствию; вы входите в приятельские сделки то с тем, то с другим из лиц, о которых вы должны произвести следствие; вы собственной властью прикрываете и прощаете преступления,— словом, ведете себя, как человек, который казнит и милует не по закону, а по произволу,— вы делаете все то, что делает взяточник. Чем же вы отличаетесь от него? и как вас не почесть за взяточника?» А когда Надимов начинает разглагольствовать, что он гнушается взяточниками и истребит их своим примером и своею службою, г. Павлов говорит ему: «вы сами не знаете, что делаете, восставая против взяток: ведь это не отдельное явление, которое можно уничтожить, не касаясь произвола,— нет, взятки — следствие тех самых обычаев, которых держитесь вы, г. Надимов; взятки — только ничтожный симптом той страшной болезни, которою охвачен, проеден до костей весь ваш организм. Взятки — не одинокое преступление: они — неизбежное следствие того порядка вещей, благодаря которому вы живете и щеголяете, — понятий, которые вам нравятся, — следствие, которое должно с вашей точки зрения казаться совершенно невинным. Корень, на котором растет этот цветок, нужно вырвать, а на цветок бесполезно и нападать, если беречь корень: не один этот цветок, а сотни подобных растут на этом корне. За что рвать именно один этот невинный цветок? Да и что проку, если сорвете этот цветок? Взамен вырастет другой, еще лучше сорванного:

Для вас взятки — порок, преступление. Да, это так; взяточник есть мытарь, торгующий правдой в ее святых храмах. Взгляд справедлив, но

узок для объема исторических явлений. Нет преступлений цельных, нет преступлений без доли заблуждения. Если видеть в старинном разврате, в народном бедствии один ряд преступлений, то легко утешиться и незачем поднимать большого шума. Преступления не страшны. Они, по свойствам человеческой природы, составляют в человеческом обществе исключения, на них восстает большинство, они прячутся от глаз, краснеют и живут тайною. Превратите только взяточника чисто в преступника и завтра взяток не будет. Страшно заблуждение. Оно обнимает массы и не боится божьего света. Вы выступили на борьбу со взяточниками, с людьми; но что люди? существа кратковременные, доступные чувству страха, расположенные к послушанию, когда оно требуется настойчивой волей. С людьми легко справиться; на них есть казнь закона, железо и огонь. Перед вами другой враг, более опасный; этот враг — понятие. Оно бесстрашно, непокорно, несговорчиво и, к несчастью, долговечно. Вы вытесните взяточника и станете на его место; а понятие тотчас пополнит эту убыль и в вашем сыне воспитает нового, который будет предметом удивления для старых. Вы возмущаетесь, вы негодуете, вы приходите в ужас, что продается правосудие; а понятие вступит в сделку с вашей совестью, сочинит слово «благодарность» и уверит вас, что между этим безукоризненным словом и взятками проведена самая непроходимая граница, протянут самый тонкий волос. Понятие предусмотрительно, осторожно и никогда не одиноко. Оно живет общей жизнью с другими, однородными понятиями. Они тесной семьей вместе проходят века и вместе гибнут, но не порознь. Взятки не жена и дети, не нищета и нужда, — их берут и холостые и богатые; взятки — особенное воззрение на жизнь и человека; взятки не причина, а следствие, не болезнь, а один из ее признаков.

Давно ли, испрашивая помещения в общественную должность, проситель писал в просьбе: «прошу отпустить покормиться»? Управление рассматривалось как кормление, как доход, которым можно быть сыту. Воеводства и приказные дела назывались «корыстовными» делами. Государственный вопрос молчал перед материальной потребностью лица. И тот, кто просился кормиться, и те, которые отпускали его на кормление, нисколько не думали, что в общественном деле интерес частного желудка есть интерес второстепенный. Нам скажут, что способ кормления определялся, и, следовательно, был законен. Иногда определялся, иногда нет; но что до этого? Самое воззрение делало невозможными правила, что и подтверждается историей. Если управляемые рассматривались, как материал для удовлетворения аппетита управляющих, если на первом плане стояло целью, чтоб воевода был сыт, то как не предположить, что он не беспрестанно был голоден? С тех пор государственные учреждения изменились. Просвещенные законодатели России спешили передавать ей в новых постановлениях иные начала, иные истины. Но нравы, но воззрения не догнали государственных учреждений. Рука не смеет уже писать: «отпустите покормиться», — а в голове прежнее понятие еще живо. Предки думали, что место дается единственно за тем, чтобы кормиться, и многие из потомков сохранили свято заветное наследие. У многих, верных преданию, цель та же — кормление, а все остальное, как написано, кажется им написано так, для одной церемонии. Бумага изменилась, — понятие осталось, потому ли, что история вообще невыносимо долго вырабатывает свои идеи, потому ли, что с изменением законов не возбудилась деятельность мысли, или, наконец, потому, что старое воззрение со всеми своими подробностями приятнее слабости человеческой.

Воображение пленялось приобщением новых истин права, а душа влеклась к той поэтической неопределенности, где давался широкой простор воле. Закон исполнил современную задачу: он определил для службы другую цель, другую причину и кормление, как оно совершалось некогда, назвал взятками, преступлением. Но быт около этого закона, — быт, благоприятствующий прежнему воззрению, сберегался тот же. На самую жизнь накладывались не те обязанности, какие излагались в законе, не то требова-

лось от нее, не те идеи были в обращении: от этого самая жизнь находилась в постоянном и естественном противоречии с законом. Г. Надимов, увлекаясь тоже воображением, не понимает, что делает, когда восстает на взятки. Он не берет их, но, нападая на них, поднимает руку на себя. Последуем за ним в чудный мир фантазии, поддадимся ее волшебному обаянию и постараемся отгадать, как бы это стали жить люди без взяток, какой бы у них совершался жизненный процесс, какими наслаждениями пользовались бы они и каким подвергались бы лишениям? Ах, г. Надимов! необдуманность, необдуманность губит многое на свете. Жизнь без взяток что за жизнь? ведь это полное развитие чувства законности, это, как его необходимое следствие, уважение на каждом шагу, во всех мелочах, к личности человека, и даже понятиях... Видите ли, к каким последствиям ведет такого рода общественное положение. Ведь оно расстроило бы вас первого. Теперь вы приехали свидетельствовать мельницу; но вам скучно, занятие не по душе, не в привычку: чувство законности вас не тревожит — у вас его нет — и вы заходите к графине, вы с ней беседуете, гуляете; вот сейчас она предложит вам завтракать. Если кто-нибудь осмелится вам напомнить, что понятия давно собраны, вы скажете: «пусть подождут». Подойдет Дробинкин — вы ему очень учтивым образом заметите, что вы чиновник, что и обсуживать и говорить вы хотите одни, а он проситель, следовательно, существо бессмысленное и бессловесное. Все это чрезвычайно приятно и удобно. Теперь, по милости взяток, многие подумают про вас: вот красноречивый человек, человек убеждений, человек-огонь; а тогда, без взяток, о чем бы вы повели беседу? с чем вы тогда явились бы на сцену перед графиней, чем бы тронули ее ветренное сердце? За что же вы нападаете на взятки, когда им обязаны столькими удовольствиями?

Против понятия оружие одно — понятие новое, которое надо поставить на месте старого. Понятие добывается не фразами, не ребяческими выражениями желаний, надежд и порицаний, а тяжелым трудом мысли, просвещением. С великою робостью, от страха, чтобы слова наши не были перетолкованы в превратном смысле, мы вопреки г. Надимову, решаемся сказать, что честный человек, сотни, тысячи честных людей, как случайность, как явление, которое может быть и не быть, бессильны в борьбе с закоснелым понятием. Одной честности, этого высокого качества, к сожалению, мало. Нужны люди честные и вместе мыслящие. Только мысль делает завоевания не случайные, а прочные, одна мысль может создать среду, где нельзя будет двигаться взяточнику. Г. Надимов придумал разные государственные меры для искоренения взяток, образцы и горючие слезы; но меры эти, превосходные сами в себе, оказываются, после нескольких тысячелетий опыта, недействительными. Вы поставьте человека в невозможность брать взятки, и он их брать не будет; а возможность этой невозможности существует для взяток точно так же, как и для других наших действий. Объяснимся примером, если уже г. Надимов такой охотник до них. Он позван на бал. Закон не определяет ни покроя его платья, ни цвета, ни материи, и каким бы шутком ни нарядился он, за это не положено никакого наказания. Отчего же г. Надимов не явится на бале в сюртуке и в пестром галстуке? почему лучше согласится нарушить постановление писаного закона, чем обычай, введенный и поддерживаемый какою-то непостижимой силой, которая не лишает прав состояния и не ссылает в Сибирь? Вот что, конечно, в малом и ничтожном виде называется взглядом на жизнь. Так люди смотрят, так думают, так привыкли думать. Пестрый галстук и сюртук на бале признаны, неизвестно, надолго ли, неприличными: извольте переуверять и оспаривать.

Для важных исторических явлений, для взяток, существует также возможность подобного взгляда, и на основании истинного, не выдуманного человеческою прихотью. Судья берется отправлять правосудие, а за деньги называет правду ложью и ложь правдою. Тут логическая нелепость очевидна, ее основание шатко: поколебать его, однако ж, трудно. Но средство есть, оно вытекает уже из самой бессмысленности явления. Должно только

искренно желать достижения предполагаемой цели и не скорбеть о тех понятиях, которые, живя одной жизнью с понятием о взятках, должны умереть с ним одною смертью. Г. Надимов обходится со взятками как-то легко, храбро, не воображая, что у них есть своя история, география и своя теория. Это не отрывок, не клочок из жизни, а целая жизнь, благообразно устроенная и приведенная в систему на известных местностях. Мы уже так тесно познакомились с г. Надимовым и получили к нему такое расположение привычки, что, желая ему добра, советуем продолжать горячиться против взятки с графиней и полковником, а ни под каким видом не сходитьсь и не вступать в спор с каким-нибудь умным и закоренелым взяточником. Г. Надимов не знает, какую неотразимую диалектику встретит он, какое научное понимание дела, какие неотвратимые доводы и даже какие добродетели. Дойдет до службы, до отправления должности, — тут, прошу не прогневаться, пожалуйста денег; а взгляните на взяточника с другой стороны, в других отношениях: он и добрый отец семейства, и теплый друг, и честный человек, который вас не обманет и не продаст. Да, г. Надимов! много и таких взяточников. Поэтому надо нападать не на взятки: они, как мы уже сказали, не причина, а следствие, плод неверного воззрения, ложного понимания, давшего простор необузданности своекорыстных побуждений. Если вы хотите вложить перст ваш в свежую рану и поразить взятки, то во всеоружии рыцаря вступите в бой с рутинной, пошлостью и бессмыслием, которое всякую мысль считает противозаконной тревогой, а всякое посягательство на невежество нарушением общественного благоустройства; с этим невежеством, которое подпирает варварские привычки, которое, при помощи обыденной сметливости, хочет отгадывать результаты наук; без учения, без приготовлений берется за все, делает все кое-как, решает с плеча все вопросы, и этот способ действия смеет называть русским умом, а всякого невежественного представителя мнимого русского ума — русским человеком...

Да, взятки не произвольное преступление нескольких дурных людей, а старый обычай, тесно связанный со многими другими обычаями, столь же важными и вредными, с многими коренными понятиями о жизни, еще преобладающими в невежественной массе, от нравов которой, как бы гордо ни смотрели мы на нее, зависит все. В подтверждение глубокой справедливости этого замечания, прекрасно развитого г. Павловым, нам хочется привести следующий случай, сообщаемый «Анекдотами о Петре Великом» Штелина. (Издание 3-е, Москва, 1830, часть 4-я, стр. 107—110):

Никита Демидович Демидов почитал за неверность, если, видя, что делающееся противно воле и указам государевым, не донесет о том его величеству. Таким образом, узнав, что статский действительный советник Василий Никитич Татищев, по делам до решения его доходившим, брал взятки, не мог не объявить об оном монарху. Великий государь объявлению сему верил: ибо ведал, что Демидов не донесет ему неправды, и в чем бы не был он точно удостоверен. Но как же однако поступил он с Татищевым? Он призывает его к себе и спрашивает: правду ли объявляет на него Демидов? Правду, государь, отвечает сей: я беру; но в том ни перед богом, ни перед вашим величеством не погрешаю. Лихоимство есть грех, достойный наказания, продолжает Татищев; а мзда за труды не грех, и апостол говорит: «Мзда делающему не по благодати, но по долгу». Монарх, несколько оставшись, велел ему изъяснить сие. Татищев продолжал:

1. Судья должен смотреть на состояние дела: то если и ничего он не взял, а против закона сделал, повинен будет наказанию; а если еще сделает сие и изо мзды, тогда к законопреступлению присовокупится уже и лихоимство, и повинен он будет сугубого наказания. Когда же право и порядочно сделает, и от правого из благодарности его что возьмет, не может за то

осужден быть. 2. Если мзду за труд пресечь, и только одно мздоимство судить, то более вреда государству и раззорения подданным последует; ибо судья должен за получаемое жалованье сидеть в приказе только до полудни, в которое на решение всех нужных просьб конечно не достанет времени; а после обеда трудиться должности его нет. 3. Когда, видя, чье дело сомнительное и запутанное, никогда внятно его исследовать и о истине прилежать причины не имея, будет день ото дня откладывать; а челобитчик с великим от того убытком волочиться и всего лишиться принужден будет. 4. Дела в канцеляриях решаются по реэстрам по порядку, и случается, что несколько дел впереди весьма не нужных; а последнему по реэстру такая нужда, что если ему дни два решения продолжится, то может несколько тысяч убытка понести, что по купечеству нередко случается. Итак, государь (продолжал г. Татищев), если я вижу, что мой труд не втуне будет, то я не токмо после обеда, но и ночью потружуся, а для того и карты, и собак, и беседы, и всякие другие увеселения оставляю; и не смотря на реэстры, нужнейшие прежде непужного решу, чем как себе, так и просителю пользу принесу, никого другого не обидя; следовательно, в таком случае за мзду, взятую за труды, ни от бога, ни от вашего величества осужден быть не могу».

Видите, как рассуждал один из лучших и честнейших людей времени Петра Великого? Да, трудно было бы с ним поспорить верхоглядам, кричащим против взяток едва ли не потому только, что не получают их по своему незнанию делопроизводства. И сам Петр Великий, как вы думаете, что он отвечал Татищеву? Вот что:

Великий государь слушал все сие, не перебивая речи, и по выслушании сказал: *Сие правда и для совестного (т. е. справедливого) судьи невинно.*

Да, все тут зависит от понятий об отношениях судьи к обществу, о произволе и законности. Да, видно, что, по понятиям, против которых не мог еще бороться сам Петр Великий, взяточник мог быть и добросовестным судьей и честным человеком. Так и нынче судят многие: взятки вовсе не беззаконие, а невинная благодарность, — и г. Надимов весь проникнут понятиями, из которых следуют такие суждения. Какое же право имеет он восставать против взяток?

Злополучный г. Надимов! таким-то образом терзается каждый шаг его, такие-то назидания навлекает он на себя каждым словом. И поделом ему, потому что он тип людей, слишком размножившихся у нас в последнее время, тип мнимых джентльменов с низенькою душонкою, рассуждающих о честности высокой фразами, в которых, что ни слово, то несообразность или ложь. И, в довершение всех ударов, получает он самый убийственный для него: ему доказывают, что он вовсе не джентльмен, не человек высшего круга, хороших манер, а просто франт дурного тона, наглостью старающийся прикрыть свое незнакомство с правилами хорошего тона! о, ужас!

Разбор «Чиновника», написанный г. Павловым, останется в памяти публики, и если бы побольше являлось таких статей, счастлива была бы наша литература.

Кажется, судьба хотела, чтобы наши заметки в этой книжке были продолжением того, о чем говорили мы в прошлый раз. Окончание статьи г. Павлова было замечательнейшим явлением в нашей журналистике за прошлый месяц; другая статья, обратившая на себя общее внимание, помещена в «Морском сборнике» и служит продолжением различных рассуждений о воспитании, о которых мы говорили в предыдущем номере. Это «Вопросы жизни. Отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными статьями «Морского сборника» о воспитании», знаменитого нашего хирурга г. Пирогова.

Охотники спорить, пожалуй, захотели бы заметить в статье господина Пирогова некоторые частности, относительно которых возможно держаться не того воззрения, какое кажется справедливым автору. Но, в таком случае, несогласие было бы более о словах, нежели о деле. О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов. Вот эти коренные мысли, в высокой степени справедливые: воспитание главною своею целью должно иметь приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтоб в жизни был он человеком развитым, благородным и честным. Это важнее всего. Заботьтесь же прежде всего о том, чтобы ваш воспитанник стал человеком в истинном смысле слова. Когда это основное, общее направление к знанию и правде уже достаточно утверждено в нем, тогда, — и только тогда, а не раньше, — пусть он сам под вашим руководством выбирает себе специальную дорогу, к которой наиболее расположен и способен. Если вы будете поступать иначе, с самого раннего детства заботясь только о том, чтобы сделать из вашего воспитанника офицера, и, притом еще, именно инфантерийского или кавалерийского, морского или инженерного офицера, или чиновника, или, притом, чиновника именно такого, а не другого министерства, и, для большей аккуратности, именно по таким-то и таким-то, а не по другим должностям, — вы сделаете очень важную ошибку, следствия которой будут вредны и для вашего воспитанника и для общества. Вы, не дождавшись, пока у человека развился рассудок и характер, скуете его на всю жизнь, втолкнете его на узкую дорогу, с которой уж нет ему выхода, и итти по которой он почти всегда оказывается неспособен, потому что ведь выбор был делом слепого произвола, каприза с вашей стороны, а не разумного соображения его наклонностей и способностей. Что ж окажется в результате? Множество специалистов, не способных именно к своей специальности и не способных ни к чему иному, и мало людей, истинно знающих свое дело, а еще меньше того людей развитых, образованных и имеющих благородное направление. Да и чего же иного можно ждать? Жизнь — тяжелая борьба; в ней много и соблазнов и недоумений; а вы позаботились ли о том, чтобы приготовить юношу к честной борьбе с соблазнами, к светлому взгляду на недоумения? Нет, вы хло-

лютали только о том, чтобы механически вбить ему в голову какое-нибудь ремесло: чему же дивиться, если он не выдерживает житейской борьбы с соблазном, против которого не вооружили вы его ни развитостью ума, ни благородными убеждениями, и если редко он остается человеком чистым? Вы, не дождавшись развития его наклонностей и способностей, дали ему в руки ремесленный инструмент, что же удивительного, если он оказывается потом и неспособен и не склонен хорошо владеть этим инструментом, который ему вовсе не по рукам? Вы хромого сделали кровельщиком, глухого музыкантом, бессильного труса кучером: что ж чудного, если и кровельщик ваш, и музыкант, и кучер — все одинаково плохо исполняют свое дело? А если бы поступили вы разумно, подождав, пока можно будет различить качества этих людей и пока они поймут, к чему они годны, тогда и результаты были бы не те: тому глухота не помешала бы сделаться хорошим кровельщиком, другому трусость — хорошим скрипачом, третьему хромота — хорошим кучером. Произвол ваш не дал развиваться людям и перепутал специальности — в результате получилось: неспособность, невежество и отсутствие твердой честности. А не поступайте иначе, сообразно здравому смыслу и природе — и все должно пойти гораздо лучше.

— Кто и не хотел бы, должен согласиться, что тут все — чистая правда, — правда очень серьезная и занимательная не менее лучшего поэтического вымысла. Теперь читатель знает общую мысль «Вопросов жизни» г. Пирогова; познакомим его с некоторыми отрывками размышлений нашего гениального специалиста.

Эпиграф статьи очень удачен:

— К чему вы готовите нашего сына? — кто-то спросил меня.

— Быть человеком, — отвечал я.

— Разве вы не знаете, — сказал спросивший — что людей собственно нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.

— Правда это или нет?

Вот и начало статьи, не менее прекрасное:

Мы живем, как всем известно, в девятнадцатом веке, по преимуществу практическом.

Отвлечения, даже и в самой столице их, Германии, уже не в ходу более. А человек, что ни говори, есть, действительно, только одно отвлечение.

Зоологический человек, правда, еще существует с его двумя руками и держится ими крепко за сущность; но нравственный, вместе с другими старосветскими отвлечениями, как-то плохо принадлежит настоящему.

Впрочем, не будем несправедливы к настоящему. И в древности искали людей днем с фонарями, но — все-таки искали.

Правда, языческая древность была не слишком взыскательна. Она позволяла иметь все возможные нравственно-религиозные убеждения: можно было *ad libitum* сделаться эпикурейцем, стоиком и пифагорийцем; только худых граждан она не жаловала.

Несмотря на все наше уважение к неоспоримым достоинствам реализма

настоящего времени, нельзя, однако же, не согласиться, что древность как-то более дорожила нравственною натурою человека.

Правительства в древности оставляли школы без надзора и считали себя не в праве вмешиваться в учения мудрецов. Каждый из учеников мог пролагать, впоследствии, новые пути и образовывать новые школы. Только жрецы, тираны и zeloty от времени до времени выгоняли, сжигали и отравляли философов, если их учения уже слишком противоречили поверьям господствующей религии: да и то это делалось по интригам партий и каст.

Язычество древних, не озаренное светом истинной веры, заблуждалось, но заблуждалось, следуя принятым и последовательно проведенным убеждениям.

Если эпикуреец утопал в чувственных наслаждениях, то он делал это, основываясь хотя и на ложно понятом учении школы, утверждавшей, что «искать по возможности наслаждения и избегать неприятного значит быть мудрым».

Если стоик делался самоубийцею, то это случалось от стремления к добродетели и идеалу высшего совершенства.

Даже кажущаяся непоследовательность в поступках скептика извиняется учением школы, проповедывавшей, что «ничего нет верного на свете, и что даже сомнение сомнительно».

В самых грубых заблуждениях языческой древности, основанных всегда на известных нравственно-религиозных началах и убеждениях, проявляется все-таки самый существенный атрибут духовной природы человека — стремление разрешить вопрос жизни и цели бытия.

Теперь нет этой последовательности, нет этой честной верности своим нравственным убеждениям, потому что воспитание обыкновенно и не заботится о приготовлении воспитанника к честной последовательности в жизни: оно только учит мастерству, — и юноша, не имеющий ни правил, ни понятий, кроме принадлежащих его ремеслу, вдруг становится среди общества, которое предлагает ему принять тот или другой из взглядов на цель и правила человеческой жизни. Каковы ж эти взгляды? Вот для примера, некоторые из них:

Вот, например, *первый* взгляд, очень простой и привлекательный. Не размышляйте, не толкуйте о том, что необъяснимо. Это, по малой мере, лишь потеря одного времени. Можно, думая, потерять и аппетит и сон. Время же нужно для трудов и наслаждений, аппетит — для наслаждений и трудов, сон — опять для трудов и наслаждений, труды и наслаждения для счастья.

Вот *третий* взгляд — старообрядческий. Соблюдайте самым точным образом все обряды и поверья. Читайте только благочестивые книги, но в смысл не вникайте. Это главное для спокойствия души. Затем, не размышляя, живите так, как живется.

Вот *четвертый* взгляд — практический. Трудясь, исполняйте ваши служебные обязанности, собирая копейку на черный день. В сомнительных случаях, если одна обязанность противоречит другой, избирайте то, что вам выгоднее или, по крайней мере, что для вас менее вредно. Впрочем, предоставьте каждому спасаться на свой лад. Об убеждениях, точно так же, как и о вкусах, не спорьте и не хлопчите. С полным карманом можно жить и без убеждений.

Вот *пятый* взгляд, также практический в своем роде. Хотите быть счастливыми, думайте себе что вам угодно и как вам угодно, но только строго соблюдайте все приличия и умейте с людьми уживаться. Про начальников и нужных вам людей никогда худо не отзывайтесь и ни под каким видом

чим не противоречьте. При исполнении обязанностей, главное, не горячитесь. Излишнее рвение не здорово и не годится. Говорите, чтобы скрыть что вы думаете. Если не хотите служить ослами другим, то сами на других верхом ездите: только молча, в кулак себе, смейтесь.

Вот шестой взгляд, очень печальный. Не хлопчите: лучшего ничего не придумаете. Новое только то на свете, что хорошо было забыто. Что будет, то будет. Червяк на куче грязи, вы смешны и жалки, когда мечтаете, что вы стремитесь к совершенству и принадлежите к обществу прогрессистов. Зритель и комедиант поневоле, как ни бейтесь, лучшего не сделаете. Белка в колесе, вы забавны, думая, что бежите вперед. Не зная, откуда взялись, вы умрете, не зная, зачем жили.

Вот восьмой взгляд, и очень благоразумный. Отделяйте теорию от практики. Принимайте какую вам угодно теорию, для вашего развлечения, но на практике узнавайте, главное, какую роль вам выгоднее играть; узнав, выдержите ее до конца. Счастье — искусство. Достигнув его трудом и талантом, не забываетесь; сделав промах, не пеняйте и не унывайте. Против течения не плывите.

Спрашивается: что выйдет из юноши, поставленного среди таких понятий о жизни, без всякого приготовления к борьбе с ними? Примеры мы видели и видим, — и, чтобы они, по крайней мере, не повторялись в будущем, воспитание должно изменить свой характер, и не к ремеслу только, а прежде всего к честной борьбе с соблазнами жизни должно оно готовить нас:

Приготовить нас с юных лет к этой борьбе значит именно:
Сделать нас людьми.

То есть, тем, чего не достигнет ни одна наша реальная школа в мире, заботясь сделать из нас, с самого нашего детства, негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов.

Человеку не суждено и не дано столько нравственной силы, чтобы сосредоточивать все свое внимание и всю волю, в одно и то же время, на занятия, требующие напряжения совершенно различных свойств духа.

Погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь.

На чем основано приложение реального воспитания к самому детскому возрасту?

Одно из двух: или в реальной школе, назначенной для различных возрастов (с самого первого детства до юности), воспитание для первых возрастов ничем не отличается от обыкновенного, общепринятого.

Или же воспитание этой школы с самого его начала и до конца есть совершенно отличное, направленное исключительно к достижению одной известной, практической цели.

В первом случае нет никакой надобности родителям отдавать детей до юношеского возраста в реальные школы, даже и тогда, если бы они, во что бы то ни стало, самоуправно и самовольно, назначили своего ребенка еще с пеленок для той или другой касты общества.

Во втором случае можно смело утверждать, что реальная школа, имея преимущественною целию практическое образование, не может в то же самое время сосредоточить свою деятельность на приготовлении нравственной стороны ребенка к той борьбе, которая предстоит ему впоследствии, при вступлении в свет.

Да и приготовление это должно начаться в том именно возрасте, когда в реальных школах все внимание воспитателей обращается преимущественно на достижение главной, ближайшей цели, заботясь, чтобы не пропустить времени и не опоздать с практическим образованием. Курсы и сроки учения определены. Будущая карьера резко обозначена. Сам воспитанник, подстрекаемый примером сверстников, только и полагает всю свою работу,

как бы скорее выступить на практическое поприще, где воображение ему представляет служебные награды, корысть и другие идеалы окружающего его общества.

Отвечайте мне, положив руку на сердце, можно ли надеяться, чтобы юноша в один и тот же период времени изготавлялся выступить на поприще, не самим им выбранное, прельщался внешними и материальными выгодами этого, заранее для него определенного, поприща и, вместе с тем, серьезно и девностно приготавлился к внутренней борьбе с самим собою и с увлекательным направлением света?

Не спешите с вашею прикладною реальностью. Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку: наружный успеет еще действовать; он, выходя позже, но управляемый внутренним, будет, может быть, не так ловок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанник реальных школ, но зато на него можно будет вернее положиться: он не за свое не возьмется.

Дайте выработаться и развиваться внутреннему человеку, дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки и юристы; а главное — у вас будут люди и граждане.

Значит ли это, что я предлагаю вам закрыть и уничтожить все реальные и специальные школы?

Нет! я встаю только против двух вопиющих крайностей.

Для чего родители так самоуправно распоряжаются участью их детей, назначая их, едва выползших из колыбели, туда, где, по разным соображениям и расчетам, предстоит им более выгодная карьера?

Для чего реально-специальные школы принимаются за воспитание тех возрастов, для которых общее человеческое образование несравненно существеннее всех практических приложений?

Кто дал право отцам, матерям и воспитателям властвовать самоуправно над благими дарами творца, которыми он снабдил детей?

Кто научил, кто открыл, что дети получили врожденные способности и врожденное призвание играть именно ту роль в обществе, которую родители сами им назначают? — Уже давно оставлен варварский обычай выдавать дочерей замуж поневоле, а невольный и преждевременный брак сыновей с их будущим поприщем допущен и привилегирован; заказное их венчание с наукой празднуется и прославляется, как венчание дожа с морем!

И разве нет другого средства, другого пути, другого механизма для реально-специального воспитания? Разве нет другой возможности получить специально-практическое образование, в той или другой отрасли человеческих знаний, как распространяя его насчет общего человеческого образования?

Вникните и рассудите, отцы и воспитатели!

Когда мы припомним, какое важное значение имел и продолжает иметь во всех образованных европейских государствах вопрос о необходимости общего воспитания и о степени участия, которое может быть уступлено специальным наукам в высшем преподавании, и вспомним, в каком смысле решается повсюду этот спор, вспомним, например, о том, много ли военных школ существует во Франции, славной своею воинственностью, мы оценим и высокий интерес и чрезвычайную справедливость этих мнений о необходимости, чтобы общечеловеческое образование играло главную роль в воспитании, — мнений, которые с такою силою высказывает, — не забудем, — человек, который всемирно единогласно признан знаменитейшим из всех наших ученых в настоящее время. Если он — слава наших специалистов — говорит, что специализм обманчив, вреден и для общества и для са-

мого обрекаемого на специализм, когда не основан на общем образовании, — кто у нас может сказать: «я лучший судья в этом деле, нежели г. Пирогов?» кто имеет у нас право не принять в уважение его мнения? Слова г. Пирогова, без сомнения, будут иметь сильное и благотворительное влияние на образ мыслей в нашем обществе. Честь и слава г. Пирогову за прекрасное и решительное выражение таких здравых убеждений; полная честь и «Морскому сборнику» за помещение таких статей.

Август 1856 года.

В августовской книжке «Отечественных записок» напечатана шестая и последняя часть романа г. Григоровича «Переселенцы»¹ Скоро это замечательное произведение явится отдельною книгою, и тогда мы будем иметь возможность подробно говорить о нем и, по поводу его, обозреть всю литературную деятельность г. Григоровича². Здесь мы можем только вскользь коснуться некоторых мыслей, вызываемых прекрасным рассказом, начало которого было встречено публикою с тем интересом, какой всегда возбуждают произведения автора «Деревни», «Антон-Горемыки» и «Рыбаков», а последние части которого все более и более приковывали к себе живое сочувствие читателя.

Была мода на романы из простонародного быта. Мода, как всегда, так и в этом случае, излишествами своими привела к сомнениям, за увлечением последовало охлаждение, и теперь так же трудно заинтересовать публику простонародным рассказом, как легко было пять-шесть лет тому назад привлекать ее внимание модным выбором простонародного сюжета. Успех повестей, изображающих нравы наших поселян, основывался преимущественно на достоинствах рассказов г. Григоровича; в охлаждении, которое было возбуждено недостатками многочисленных его подражателей, г. Григорович не виноват, и публика справедливо осуждает его от всякой ответственности за чужие грехи: перестав читать простонародные рассказы писателей, бросившихся на эту дорогу в надежде разделять успех г. Григоровича, публика с прежним интересом читает и перечитывает новые произведения г. Григоровича: она очень хорошо чувствует разницу между «Переселенцами» и, например... но к чему утруждать себя припоминанием примеров, о которых никому не хочется вспоминать? И никто из забываемых описывателей простонародного быта не может роптать на несправедливость своей судьбы. Зачем они, если имеют талант (человек без таланта, конечно, ни в чем не виноват), — зачем они не захотели подумать о том, что составляет главное достоинство простонародных рассказов г. Григоровича, и зачем воображали, что, копируя или утрируя только внешние особенности его произведений, могут ожидать прочного

успеха? Внутренняя пустота скоро отгадывается, и никакие уловки не прикроют и не украсят ее. Зачем эти подражатели, не понимая г. Григоровича, подделывались под его манеру? зачем они воображали, будто бездушным подражанием манере можно создавать прекрасное? Зачем они не приняли в соображение, что г. Григорович силен потому, что знает и любит народ, и воображали, будто все дело состоит в крестьянских именах и в замене обыкновенных русских слов такими диковинками, каких читателю с бритой бородой и слышать не приводилось? Зачем они действовали так, будто гоголевы «Вечера на хуторе близ Диканьки» были обязаны своими успехами заимствованию малорусских слов из «Лексикона» Памвы Берынды?

Г. Григорович знает деревенский быт средней полосы нашего царства и нимало не думает сам себе дивиться или хвалиться перед другими тем, что он знает его, как житель Петербурга вовсе не дивится тому, что знает Петербург, как человек, служивший на Кавказе, вовсе не дивится тому, что знает кавказские обычаи; да и скажите, в самом деле, что такое за диво быть в русском царстве человеком, хорошо знающим сельскую жизнь? Каждый помещик, каждый чиновник земской полиции, каждый сельский священник очень хорошо знает нравы поселян. Хвалиться тут ровно нечем. Ведь русская деревня для нас не Австралия, которой не видал никто из наших соотечественников. Г. Григорович находит, что поселяне — такие же люди, как и мы, и большею частью люди добрые и неглупые; потому он любит их, и когда видит, что они терпят нужду или притеснение, ему становится жаль их. Всем этим своим чувствам он вовсе не думает дивиться или хвастаться ими; да и что, в самом деле, удивительного в этих чувствах? каждый благородный и не близорукий человек, который знает наших поселян, любит их и жалеет о невзгодах, какие встречаются в их быте.

Каждый литератор с самостоятельным талантом берет сюжеты для своих рассказов из того круга жизни, который интересует его и хорошо ему знаком. Так поступил г. Григорович: он стал писать рассказы из сельского быта, и выбор его был решен не какими-нибудь мелочными соображениями, не заботой о нововведениях или похвальбою, или расчетами на особенный успех, — из таких соображений в поэзии никогда ровно ничего не выходит, потому что талант истинный не подчиняется им. Вовсе нет: г. Григорович стал писать повести из сельского быта потому, что близко знает этот круг и интересовался им; тут было не более, как исполнение поговорки: «что у кого болит, тот о том и говорит». Писал ли кто-нибудь по-русски до г. Григоровича хорошие повести из великорусского сельского быта или нет, это для г. Григоровича было решительно все равно. Он сам чувствовал влечение описывать сельский быт, чувствовал, что может описывать его, — на этом влечении таланта было основано все.

И вот явились «Деревня», «Антон-Горемыка» и т. д. Автор нисколько не делал насилия своему таланту, когда писал их: выбор предмета был направлен любовью к поселянам. Автор нисколько не щеголял ни своим знанием крестьянского языка, ни тем, что бывал в курных избах; он только верно описывал хорошо знакомый ему быт. Видно было, что он любит поселян, как людей, и сочувствует их интересам. Очень натурально, что повести, написанные с талантом и знанием, оживленные сочувствием автора к изображаемым людям, имели успех. Успех основывался на существенных, неотъемлемых достоинствах произведений.

Но люди догадливые относительно средств всеми правдами и неправдами добиться литературного успеха, тотчас же сообразили, в чем дело. Они догадались, что успех повестей г. Григоровича основан не на достоинстве повестей, а только на том, что в повестях описываются не такие люди, как мы с вами, а совершенно невиданные никем — какие-то чудаки с бородами и в онучах, и говорят эти чудаки-мужики вовсе не таким языком, как мы с вами, а каким-то чудным, неслыханным языком. Таким-то легким образом был найден рецепт для приобретения литературного успеха: публика восхищается странными нравами мужичков и диковинным их языком — начнем же угощать ее этими блюдами, и разделим успех г. Григоровича, а пожалуй, достигнем и большего успеха, потому что перещеголять его в поражении публики диковинными нравами и языком вовсе нетрудно: он далеко не вполне пользуется теми обильными материалами диковинных особенностей, какие могут быть найдены в сельском быте. Покажем ей, что мы умеем говорить по-мужички гораздо лучше г. Григоровича, что мы — если уж на то пошло — знаем крестьянский быт, как свои пять пальцев.

И принялись удивлять публику своим знанием крестьянского быта и мужицкого языка.

И, действительно, удивили, — только не в том смысле, как рассчитывали. В произведениях, писанных на новую тему людьми, не лишенными таланта, публика удивилась пустоте и бесцветности при наружной эффектности, а в произведениях людей бездарных — огромности претензий и страшной фальшивости тона. Впрочем, последними качествами поражали иногда и рассказы известных писателей.

Расчеты на успех оказались ошибочны, и ошибка была так груба, что трудно даже извинить ее.

В самом деле, неудачные подражатели г. Григоровича воображали, что публика восхитилась в его повестях новизною; но ужели огромное большинство русских читателей не знало крестьянского быта и не слыхивало крестьянского языка? Неужели «Деревня» произвела эффект вроде того, какой производят рассказы о японцах и жителях Ван-Дименовой земли? Нисколько: каждый читатель сам знал очень хорошо русских мужичков и, быть

может, половина читателей провела жизнь в самых тесных сношениях с ними. — Или печатные рассказы о мужиках были новостью, когда явилась «Деревня»? Если публика знала крестьянский быт, то, быть может, по крайней мере, литература чуждалась его описаний? Нимало: от «Фрола Силина» Карамзина³ до героев Загоскина тянется непрерывный ряд литературных мужиков, и в то самое время, когда начал писать г. Григорович, были очень известные рассказчики, вся деятельность которых была посвящена описанию простонародного быта. Стало быть, по той сфере, из которой взято содержание «Деревни», повесть г. Григоровича вовсе не была новостью.

Правда, было в ней нечто новое, но вовсе не мысль описывать крестьянский быт: ново было то, что крестьянский быт описывался верно, без прикрас, что в описании был виден сильный талант и глубокое чувство, возвышающееся до самой патетической поэзии. Этим качествам подражатели не вздумали подражать, потому, вероятно, что не считали их важными, не чувствуя присутствия их в себе. Но эти качества, упущенные из виду славолюбивыми соперниками г. Григоровича, и были причиною, что его произведения сделали и продолжают делать такое сильное впечатление на публику, между тем, как люди, писавшие до него и вслед за ним о тех же самых мужиках, оставлены или вовсе не приняты публикою.

Но что такое талант, чувство, поэзия, верность картин? о таких пустяках не думали подражатели: ведь, по их мнению, мужики понравились публике, как диковинка, заняли ее странностями языка и нравов. Этими-то качествами мужиков и хотели они выиграть, выказывая удивительнейшее, по собственному мнению, умение владеть языком и подмечать особенности обычаев поселян. Действительно, мужики у них заговорили так, что не употребляли ни одной фразы, которая имела бы смысл на обыкновенном русском языке (которым, между прочим, говорят и крестьяне, не имеющие средств объясняться на иных языках), не произносили ни одного слова, не исковеркав его; да и то была еще милость, когда только коверкали обыкновенные слова, а не вовсе отказывались от них, заменяя их несслыханными в народе русским речениями, заимствованными из «Словаря областных наречий». Нравы этих диковинных поселян также не имели ничего общего с обыкновенными человеческими или русскими нравами: не говоря уже о чувствах или понятиях, даже в затылке почесывали мужички уж наверное никак не пальцами, а кулаком, да еще на особенный манер сложенным, и ложку со щами подносили ко рту не обыкновенным порядком, а с какими-нибудь особенными извитиями рук и ухмылениями лица. И на каждое диковинное словечко своих мужичков, на каждое несообразное с обыкновенною логикою понятие, на каждый странный жест их, автор радовался, сам дивясь чудному своему знанию всех никем дотоле

не подмеченных особенностей народного быта и языка. Г. Григорович никогда не достигал такой высоты: у него мужики и говорили, и думали, и поступали по-человечески, отличаясь в языке и обычаях от остальных русских не более того, как отличаются действительные, живые русские поселяне, которые и говорят и думают о житейских делах почти так же, как и всякий другой человек, не получивший книжного воспитания. Мы уж сказали, отчего происходила эта разница: г. Григорович не изумляется своему знакомству с поселянами, не находит нужды щеголять этим знакомством, он привык видеть в поселянах людей таких же, как и мы с вами, читатель, или, быть может, и несколько лучших, нежели большая часть из нас; он — какая редкость! — он и любит их просто, как людей, а не как чудачков, странности которых могут давать литераторам поживу для курьезных описаний. Если в каком-нибудь уезде поселяне произносят «хурушу» вместо «хорошо», это, по его мнению, такая же драгоценная для поэзии и такая же восхитительная для него находка, как «харашо», которое произносим мы вместо «хорошо». Но для многих из его подражателей поселянин, в самом деле, диковинка, знанием которой не могут они довольно нащеголяться, и на употреблении «хурушу» основаны и надежда их на славу и любовь их к поселянам.

Без знания и без любви что может сделать даже замечательный талант? А если, притом, и талант у литератора, требующего себе отличий за снисходительное знакомство свое с мужиками, не слишком велик, что ж удивительного, когда рассказы его из сельского быта так же пусты, аффектированы и скучны, как пусты, скучны и аффектированы были бы его повести из аристократического быта?

Да и что хорошего может произвести насилование своего таланта? Г. Григорович тем и силен, что пишет простонародные рассказы по влечению собственной натуры, не насилуя таланта, а давая ему полный простор. А последователи его начали описывать поселян не по влечению таланта, а по разным посторонним соображениям, насилуя талант.

Есть люди, которые любят толковать о свободном творчестве — почему ж не толковать и об этом предмете? дело хорошее, лишь бы только толкующий сам понимал, о чем толкует, и не смешивал свободного творчества, например, с пустословием, которое относится скорее к прозе, и, притом, очень пошлой прозе, нежели к поэзии. Свободное творчество состоит в том, чтобы поэт не насиловал своей природы: природа внушает одному сатиру, другому идиллию, — пусть каждый из них пишет что ему внушает природа таланта. Но если сатирик начнет гнуть свой талант, чтобы хочешь, не хочешь — написать идиллию, тут уже не будет ровно никакой свободы творчества, а просто-напросто будет насилование таланта, и идиллия выйдет хуже всякой пародии на идиллию. Для Гоголя свободою творчества было пи-

сать о Чичиковых и Бетрищевых, а изображать Улиньку и Костанжогло было чистым насилованием таланта; Диккенса—«Пиквикский клуб» и «Тяжелые времена» — равно плоды свободного творчества, как и Пушкину «Онегин» не менее «Каменного гостя» внушен свободным творчеством. Уже более двух тысяч лет прошло с того времени, как высказана была истина, что верховным правилом разумной жизни должно быть «слушайся природы» — *secundum naturam vivere*. Пора нам понять эту истину. И в поэзии она так же бесспорна, как во всем остальном.

Правда и то, что у одних натура сильна, здорова и влечения ее дельны, у других — натура дрябла и влечения ее пусты. Конечно, людям последнего разбора непонятны здоровые влечения и дельные мысли. К числу таких людей принадлежат, между прочим, и те, которые воображали, что прочной литературной славы можно достичь у нас, не имея сильных и благородных стремлений, что публика наша прельстится фразами без смысла, формой без живой идеи. Эти люди, особенно те из них, которые потерпели крушение собственных литературных надежд, могут быть недовольны г. Григоровичем, во-первых, за то, что ему досталась известность, которой напрасно искали они, во-вторых, и за то, что в его произведениях есть всегда живая мысль, необходимости которой никак не могли понять они. Но мнение таких людей вовсе не закон ни для г. Григоровича, ни для русской публики: она, что ни говорите, так умеет ценить людей и награждает своим сочувствием только тех писателей, которые служат правде, служа поэзии, потому что без правды нет и поэзии.

Горька участь литераторов, которые, несмотря на все хлопоты, не успели приобрести славы, за которую гнались или еще продолжают гнаться; но кто ж виноват в том, что участь их горька? Зачем они так узко и поверхностно поняли литературу, воображая, что она может быть пустословием?

Кто, например, виноват, если рассказы из простонародного быта вообще не разделяли того успеха, которым постоянно пользовались произведения г. Григоровича? Неужели охлаждение публики надобно считать причиною неуспеха многих писателей, в подражание г. Григоровичу водивших нас по избам и нивам? — Но ведь это охлаждение не простиралось же никогда на произведения г. Григоровича, и, например, последний роман его был читаем всеми с величайшим одобрением. Отчего же такая разница? Отчего г. Григорович без всякого труда привлекает к себе внимание публики, когда многих других повествователей о сельском быте не хочет она и слушать?

Г. Григорович не забавляет себя и публику набиранием странных слов и странных обычаев (чем ограничиваются другие): в его «Переселенцах» есть живая мысль, есть действительное знание народной жизни и любовь к народу; у него поселяне выводятся не затем, чтобы исполнять должность диковинных чуда-

ков с неслыханным языком: нет! они являются, как живые люди, которые возбуждают к себе полное ваше участие. В этом и причина постоянного успеха его повестей и романов из сельского быта.

Мы не будем пересказывать содержание «Переселенцев»: кто не читал еще этого романа, конечно, прочтет его. Мы не будем и перечислять сцен, особенно хорошо исполненных или характеров, очерченных особенно удачно, потому что это исчисление было бы слишком длинно. От хилого и телом и духом Тимофея Лапши, которого помещик переселяет в саратовские луга из вотчины, где Лапшу не любили за то, что у него брат Филипп скрывался в бегах и промышлял воровством, до жены Тимофея, Катерины, которая бьется, как рыба об лед, чтобы как-нибудь поддержать хозяйство, и до маленького Тимофеева сына Пети, которого Филипп отчасти выманивает, отчасти силою отнимает у отца и продает нищим; от агронома и филантропа-помещика Сергея Васильича Белицына, который очень хорошо рассуждает об обязанностях помещика и о своих великолепных планах, и разоряется, устраивая в Петербурге прекрасные балы, до молодого гуртовщика Карякина, который хвастается тем, что не боится своего тятеньки, — почти все характеры обрисованы с обыкновенным мастерством г. Григоровича, так что выставляются живыми людьми. Заключение из своего рассказа выводит сам автор в следующей сцене:

Узнав о смерти Тимофея Лапши, хозяйство и здоровье которого было окончательно убито переселением, и о горькой участи его семьи, супруга Сергея Васильича, Александра Константиновна, надолго задумалась. Сергей Васильич, вместе с нею выслушавший рассказ старосты, тоже сидел молча.

— О чем ты думаешь? — спросил наконец муж, прикасаясь ладонью к руке жены.

— Я думаю об этой бедной женщине и ее детях, думаю также о помещиках... таких, как мы... — вымолвила Александра Константиновна.

Сергей Васильич сильно потер лоб ладонью и опустил голову.

— Надо сознаться, Serge, оба мы поступили непростительно бпрометчиво, — подхватила Александра Константиновна: — нет, мы живем совсем не так, как бы нам следовало!

— Чтб ты хочешь этим сказать? — краснея, проговорил муж.

— Я хочу сказать, — кротко возразила Белицына: — что если уж существует наше положение—положение помещика, оно налагает на нас, помещиков, обязанности... строгие, святые обязанности—право, так! Это не пустое слово, не фраза. Сколько раз думала я: если б владели мы только землями да лесом, наша беспечность была бы простительна, нас можно было бы извинить за наше незнание; но ведь в руках наших живые люди, мы имеем сотни семейств, судьба которых в нашем полном распоряжении... — с горячностью подхватила она: — как христиане, как граждане, наконец, просто как честные люди, можем ли мы быть беспечными? Имеем ли мы право бросить этих людей на произвол судьбы, не зная их жизни, их потребностей?.. Наше равнодушие, наше невежество в отношении к быту этого народа, который круглый год, всю свою жизнь для нас трудится и проливает пот свой, —

наше равнодушие и незнание постыдно и бесчестно!.. Мы наряжаемся, пляшем, безумно тратим деньги, уважаем и принимаем за серьезное то, что в сущности вздор, и почти презираем то, к чему обязывают нас совесть, религия и все человеческие чувства... Сердце возмущается и страшно делается, как подумаешь обо всем этом! Нет, мы живем не так, далеко не так, как бы следовало!..

Но мы считаем лишним досказывать то, что говорила Александра Константиновна. Мысль, которая одушевляла ее, и без того понятна, — мысль, по нашему мнению, в миллионы раз дороже самого пылакого, блестящего красноречия.

Во все время, как говорила Белицына, Сергей Васильич не поднял головы. Когда она кончила, он продолжал сидеть в том же положении. Видно было, однако ж, что слова Александры Константиновны произвели на него сильное впечатление. Доброе лицо его выражало столько грусти, что, взглянув на него, Белицына быстро подошла к мужу и взяла его за обе руки.

Она подумала, не зашла ли уж слишком далеко в своем увлечении, не оскорбила ли как-нибудь нечаянно мужа, который, в сущности, был главным виновником проекта о переселении и подал повод к ее упрекам.

— О чем ты думаешь? — спросила она с ласковой улыбкой.

— О чем я думаю? — вымолвил Сергей Васильич, подымая голову, при чем жена увидела слезы на глазах его: — я думаю, что ты во сто тысяч раз умнее и честнее меня — вот что я думаю.. Начинать же то дело, о котором ты говорила! — подхватил он с воодушевлением: — начинать это дело, с богом, и я твой верный, неизменный помощник!..

Александра Константиновна, женщина умная и, действительно, хорошая, видит необходимость взять управление в свои руки, мало-помалу приводит в порядок расстроенное хозяйство и успевает облегчить участь поселян.

Некоторые читатели заметят, что эта идея может подать повод к спорам — тем лучше: лишь были бы у нас хотя споры о чем-нибудь дельном, и это было бы уже важным шагом вперед. Но людей, которые желают спорить с Александрой Константиновной, мы, прежде всяких споров, просим обратить внимание на слова, которыми начинается ее монолог: «если уж существует наше положение», — говорит она — она говорит не о своих идеалах, а только о своих обязанностях при настоящем положении; но как она думает об этом положении, она того не говорит, и, по всей вероятности, у ней есть об этом свои мысли, и, быть может, мысли, не оставляющие места никаким спорам.

Те, которые с интересом следят за развитием мнений так называемых славянофилов, нетерпеливо ожидали выхода второй книги «Русской беседы», надеясь найти в ней трактат И. В. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии». Трактат этот должен был пояснить, как именно ныне понимается, если не всеми славянофилами, то многими и, кажется, последовательнейшими из них, теоретический вопрос об общих началах знания, — вопрос, которому славянофилы придают чрезвычайную важность.

Вышла вторая книга «Русской беседы», и помещен в ней трактат И. В. Киреевского... но мы не можем говорить о нем, как намеревались: находя многое в нем верным и прекрасным (особенно

идею, что одних отвлеченных понятий недостаточно для живого решения вопросов жизни, потому что ум человека не есть еще весь человек, а жить нужно всему человеку, и не одним рассудком, а также любовью), находя, что вся статья, напечатанная теперь *, проникнута духом благородным и чистым от фанатизма или нетерпимости. — находя наконец в изложении статьи силу мысли, не совсем обыкновенную и возбуждающую к себе невольное уважение, как возбуждает уважение всякий сильный ум, — потому, имея сказать многое в похвалу статьи, мы, однако же, находим в ней ошибки, которые нам кажутся важными, и, как следствие ошибок, некоторые мнения, как нам кажется, не соответствующие или нынешнему состоянию науки, или потребностям жизни. Конечно, мы не могли бы оставить эти мнения без замечаний. Но над свежелою могилою, недавно поглотившею Киреевского, неуместны и неприличны были бы не только споры, даже все, что могло бы походить на спор. Да и к чему теперь возражать, опровергать? К сожалению, нет уже надобности защищать против Киреевского те из наших убеждений, справедливость которых не признавал он — к сожалению, говорим мы, потому что не в развитии тех или других мнений, могущих возбуждать несогласия, состояло главнейшее значение Киреевского, а в развитии стремлений благородных и полезных для нашего общества, столь мало еще проникнутого потребностью мыслить, жаждою истины. Жажда истины, деятельность мысли — зародыш и залог всего благого; а в Киреевском была эта жажда истины, он пробуждал в других деятельность мысли. Потому, во всяком случае, он был полезен и нужен у нас.

«Русская беседа» посвящает несколько страниц воспоминанию о Киреевском. Страницы эти проникнуты искренностью глубокого чувства и написаны прескрасно. Мы берем из них те мысли, в которых совершенно согласны с мнениями или чувствами, высказываемыми от имени «Русской беседы» о ее покойном сотруднике.

Сердце, исполненное нежности и любви; ум, обогащенный всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине; необычайная тонкость диалектики в споре, сопряженная с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, врожденное отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, выражений мысли или отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подо-

* Киреевский успел обработать только половину трактата, которым занимался в последнее время жизни, только первую, критическую часть своего исследования; вторая часть, которая должна была содержать догматическое построение начал его собственной системы, осталась не написанною.

зрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замечённого в других людях: таковы были редкие и неоцененные качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям. Смерть его останется неисчислимою раной для многих.

Но потеря Ивана Васильевича Киреевского важна не для одних личных его знакомых и не для тесного круга его друзей: нет! она важна и незаменима для всех его соотечественников, истинно любящих просвещение и самобытную жизнь русского ума. Не много оставил он памятников своей умственной деятельности — несколько листов составляют весь итог его печатных трудов; но в этих немногих листах заключается богатство самостоятельной мысли. Нашему убеждению будет, конечно, сочувствовать всякий, кто с разумом прочел или теперешнюю статью Ивана Васильевича Киреевского, или те, которые напечатаны в «Москвитянине» и в «Московском сборнике».

Слишком рано писать его биографию; скажем только, что жизнь его украшена была с первой молодости приятию Пушкина, горячею дружбою Жуковского, Баратынского, Языкова и (слишком рано увядшей надежды нашей словесности) Д. В. Веневитинова. О движении и развитии его умственной жизни и о литературной деятельности говорить также еще нельзя... Но придет время, когда наука оценит его достоинство и определит его место в движении русского просвещения. Выводы, им добытые, сделавшись общим достоянием, будут всем известны; но его немногие статьи останутся всегда предметом изучения по последовательности мысли, постоянно требовавшей от себя строгого отчета, по характеру теплой любви к истине и людям, которая везде в них просвечивает, по верному чувству изящного, по благоговейной признательности его к своим наставникам, предшественникам в путях науки даже тогда, когда он принужден их осуждать, и особенно по какому-то глубокому сочувствию не высказанным требованиям всего человечества, алчущего животворящей правды.

Память твоя да будет с праведною похвалою, наш усопший брат!

Скажем и мы от себя:

Да будет память твоя с праведною похвалою, честный и полезный деятель русской мысли, человек замечательный по высоким качествам ума и благородным достоинствам сердца!

Сентябрь 1856 года.

Часто случалось нам слышать недоумения относительно причин, которым надобно приписать чрезвычайный успех «Семейной хроники» г. Аксакова. От некоторых людей, заслуживающих всякого уважения по развитости своего вкуса, мы слышали даже осуждение всем нашим журналам, от «Русской беседы» до «Русского вестника» и «Современника», за тот восторг, с каким отзывались все критики о книге г. Аксакова. — «Спора нет, — говорили эти люди, — «Семейная хроника» написана [хорошо, можно, пожалуй, согласиться, что она написана даже очень хорошо], — но выставять «Семейную хронику» книгою необыкновенных, изумительных достоинств, — дело решительно несправедливое, а в эту ошибку впали все журналы. По какому случаю все они были единодушны в ошибке, когда так редко бывают еди-

нодушны в истине? Не упоминаем о критической статье одного из них, объявившего, что с «Семейной хроники» начинается новая эпоха для нашей литературы, что у самого Гоголя лучшие места в первом томе «Мертвых душ» написаны под влиянием этой книги, отрывки из которой читались ему в рукописи; что все наши поэты и нувеллисты должны учиться и будут учиться слогу и чувствам, искусству писать и уменью понимать русскую жизнь у г. Аксакова. Это слишком очевидное преувеличение объясняется, пожалуй, даже извиняется, духом партии. Но чем извинить другие журналы, которые говорили о книге г. Аксакова тоном, разве немного уступающим в восторженности тону этой статьи? Ведь в их разборах также виделось необыкновенное удивление достоинствам «Семейной хроники»; они также как будто отдавали г. Аксакову первенство над всеми нашими нынешними писателями, говорили об нем, как о художнике, перед которым надобно преклоняться. Все это ошибочно. «Семейная хроника», в литературном отношении, имеет недостатки... И эти строгие ценители исчисляли литературные недостатки книги г. Аксакова, быть может, сами так же преувеличивая их, как преувеличивал достоинства книги критик, находивший, что она должна преобразовать всю нашу литературу, для которой начинается новая эпоха с появления «Семейной хроники».

Нет надобности оправдывать журналы, которые, быть может, уже достаточно оправдываются своим единодушием. Во всяком случае, чрезвычайный успех «Семейной хроники» остается фактом, и слишком строгие ценители, мнение которых мы привели выше, едва ли не впадают сами в ошибку, слишком много занимаясь вопросом о том, как велики именно литературные достоинства книги г. Аксакова: интерес, возбужденный «Семейною хроникою», основывался не исключительно на этих достоинствах: гораздо важнее было другое обстоятельство — то, что книга эта удовлетворяла слишком сильной потребности нашей в мемуарах, — потребности, находящей себе слишком мало пищи в нашей литературе. Конечно, если книга эта, интересная как мемуары, имела, притом, и замечательные литературные достоинства, по крайней мере, в некоторых частях (чего никто не отрицает) тем лучше; но будь она написана хотя бы не более как только не совсем дурным слогом, успех ее был бы разве немногим меньше того, какой она имела при всех своих настоящих литературных достоинствах.

В самом деле, у нас вовсе нет мемуаров, относящихся до близкого к нам времени, относящихся до современной эпохи — решительно нет. А потребность в таких мемуарах очень сильна. Только из одной беллетристики мы можем литературным образом расширять наше знание о том, что недавно делалось или делается вокруг нас. Но дело ясное, что одна беллетристика недостаточна в этом случае. Мемуары везде являются во множестве, везде чи-

таются с жадностью, везде приносят много и пользы и наслаждения; у нас только нет и нет мемуаров. «Да где же они? Давайте их!»

Г. Щедрин хочет пособить этому недостатку: он начал печатать в «Русском вестнике» (книжка 16-я) рассказы, которые называет «Губернскими очерками». Мы смотрим на эти рассказы, как на отрывки из мемуаров, — так, вероятно, смотрит на них и сам автор. Ни ему, ни нам нет никакого дела до требований, каким могут подлежать рассказы о приключениях и лицах, создаваемых фантазиею. В литературном отношении у нас только одно условие относительно мемуаров: чтобы они были написаны недурно, — не более; совершенств и красот мы в них не ищем, — напротив, эти красоты иногда только мешают существенному достоинству мемуаров — точной правдивости рассказа. «Губернские очерки» г. Щедрина совершенно удовлетворяют этому условию: никто не скажет, что рассказ автора не хорош. Большого публики и не потребует. Мы не имели еще случая слышать, какой успех имеют в публике «Губернские очерки», но вперед можно быть уверенным, что [успех этот не уступит успеху «Семейной хроники»].

Г. Щедрин рассказывает нам свои воспоминания из жизни в некоем городе Крутогорске; но что это за город Крутогорск? имя, кажется, выдуманное. Если хотите, имя точно выдумано: почему же иногда и не придумать какого-нибудь имени, для собственного удобства и пользы читателей: дело не в имени, а в деле. Посмотрим же, что выдумщик г. Щедрин рассказывает о выдуманном городе Крутогорске. Но прежде всего узнаем местность, к которой относит г. Щедрин свои выдумки. В других местностях, может быть, ничего такого и не бывает, как в Крутогорске.

В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то, чтобы он отличался великолепными зданиями; нет в нем садов семиамидных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то все немощенные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокоивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.

И, в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру: куда ни взгляните вы окрест — лес, луга, да степь, степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок и бойко, проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...

В этом далеком от нас городе люди живут очень патриархально, но с большими претензиями на светскость и подражание Петербургу. Так, например, хозяйка считает уже своею обязанностью занимать гостей, приехавших с визитом (визиты сви-

репствуют в Крутогорске), там женщины уже не прячутся от мужчин; мало того: знатные лица уже сажают на стулья людей, приехавших к ним с визитом, а не разговаривают с ними, держа их в стоящем положении; гости, с своей стороны, стараются вести с дамами разговоры любезные и занимательные:

Вот наступает воскресенье: весь город, с раннего утра, в волнении, как будто томим недугом. На площади шум и говор, по улицам езда страшная. Чиновники, не обуздываемые в этот день никаким присутственным местом, из всех сил устремляются к его превосходительству поздравить с праздником. Случается, что его превосходительство не совсем благосклонно смотрит на эти поклонения, находя, что они вообще не относятся к делу; но духа времени изменить нельзя: «помилюте, ваше превосходительство, это нам не в тягость, а в сладость!»

— Сегодня отличная погода, — говорит Порфирий Петрович, обращаясь к ее превосходительству.

Ее превосходительство слушает с видимым участием.

— Только жарко немножко-с, — отзывается уездный стряпчий, слегка привставая на кресле; — я, ваше превосходительство, потею...

— Как здоровье вашей супруги? — спрашивает ее превосходительство, обращаясь к инженерному офицеру, с очевидным желанием замять разговор, принимающий слишком интимный характер.

— Она, ваше превосходительство, всегда в это время бывает в таком положении...

Ее превосходительство решительно теряется.

Общее смущение.

— А у нас, ваше превосходительство, — говорит Порфирий Петрович: — случилось на прошлой неделе обстоятельство. Получили мы из Рожновской палаты бумагу-с. Читали мы, читали эту бумагу — ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная. Вот только и говорит Иван Кузьмич: «позовем, господ, архивариуса — может быть, он поймет». И точно-с, призываем архивариуса. Прочитал он бумагу. Понимаешь? спрашиваем мы. — «Понимать не понимаю, а отвечать могу». Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал это бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако, мы подписали и отправили.

Общий хохот.

— Любопытно, — говорит его превосходительство: — удовлетворится ли Рожновская палата?

— Отчего же не удовлетвориться, ваше превосходительство? ведь им больше для очистки дела ответ нужен: вот они возьмут да целиком нашу бумагу куда-нибудь и пропишут-с, а то место опять пропишет-с; так оно и пойдет...

Жизнь в городе, где обхождение так любезно, а разговоры так поучительны, конечно, очень приятна; потому и у г. Щедрина остались о ней самые светлые воспоминания:

Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что я не желал бы слышать эти звуки, которые грустно и болезненно отдаются в моей душе. Много есть путей служить общему делу, но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более, что предполагает полное сочувствие к добру и истине. Смею думать, что все мы, от мала до велика, видя ту упорную и непрестанную борьбу

со злом, предпринимаемую теми, в руках которых хранится судьба России, — все мы обязаны, по мере сил, содействовать этой борьбе и облегчать ее.

Из трех рассказов, которые следуют у г. Щедрина за общеокартиною нынешнего состояния Крутогорска, два имеют одинаковое заглавие: «Прошлые времена». Оба они заимствованы из бесед с одним и тем же старым уездным служакой, от лица которого и ведутся эти рассказы в Записках г. Щедрина. Из этих двух рассказов мы и сделаем несколько выписок. Старый служака жалует о прежних временах, когда все было проще и дружелюбнее, нежели ныне; в его беседах есть что-то идиллическое, напоминающее предания поэтов о золотом веке:

«...Нет, нынче не то, что было в прсжнее время: в прсжнее время народ как-то проще, любовнее был. Служил я теперича в земском суде заседателем, триста рублей бумажками получал, семейством угнетен был, а не хуже людей жил. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-есть надо, ну и место давали так, чтоб прокормиться было чем... А отчего? оттого, что простота во всем была, начальственное снисхождение было — вот что!

Много было у меня в жизни случаев, доложу я вам, случаев истинно любопытнейших. Губерния наша дальняя, дворянства этого нет: ну, и жили мы тут, как у Христа за пазушкой; съездишь, бывало, в год раз, в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтоб под суд попасть или ревизии там какие-нибудь, как нынче: все шло себе как по маслу. А вот вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше: народ, дескать, меньше терпит, справедливости больше, чиновники бога знать стали. А я вам доложу, что все это напрасно-с: чиновник все тот же, только тоньше, продвунее стал... Как послушаю я этих нынешних-то, как они и про экономию-то и про благо-то общее начнут толковать, инда злость под сердце подступает.

Брали мы, правда, что брали — кто богу не грешен, царю не виноват? да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать? Как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, все разговором занимаются, и все больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно.

Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то, чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь продает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, все дочиста спустишь, — как быть? ну и идишь к исправнику. Батюшка, Демьян Иванович, так и так, помоги! Выслушает Демьян Иванович, посмеется начальнически: «вы, мол, такие-сякие, приказные и деньги-то сколотить не умеете, все в кабак да в карты!» А потом и скажет: «ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать собирать». Вот и поедешь: подати-то не соберешь, а ребяташкам на молочишко будет.

И ведь как это все просто делалось! не то, чтоб истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход. — Ну, мол, ребяташки, выручайте! Царю-батюшке деньги надобны: давайте подати.

А сам идишь себе в избу, да из окошечка посматриваешь: стоят ребяташки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение, вдруг все заговорят и руками замахают, да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: «будет, мол, вам разговаривать — барин сердится». Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего; начнут жеребий кидать. Это значат идет дело на лад, порешили итти к заседателю, не будет ли божеская милость обождать до заработков.

— Э-э-эх, ребяташки, да «как же с батюшкой царем-то быть! ведь ему деньги надобны: вы хоть бы пас, своих начальников, пожалели!

И все это ласковым словом, не то, чтобы по зубам да за волосы: «Я, дескать, взяток не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружный!» нет, этак лаской да жаленьем, чтоб насквозь его, сударь, прошибло!

— Да нельзя ли, батюшка, хоть до Покрова обождать?

Ну, натурально, в ноги.

— Обождать-то для-че не обождать? это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду — судите сами.

Пойдут ребята опять на сход, потолкуют, потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублей четыреста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее.

А то вот у нас еще фортель какой был — это обыск повальный. Эти дела мы приберегали к лету, к самой страдной поре. Выедешь это на следствии и начнешь весь окольный народ сбивать; мало одной волости, так и другую прихватишь — всех тащи. Сотские же у нас были народ живой, тертый — как есть на все руки. Сгонят человек триста, ну, и лежат они на солнышке. Лежат день, лежат другой; у иного и хлеб, что из дому взял, на исходе, а ты себе сидишь в избе, будто взаправду занимаешься. Вот как видят, что время уходит — полевая-то работа не ждет — ну, и начнут засыпать сотского: «нельзя ли, дескать, явить милость, спросить в чем следует». Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего ж им удовольствие не сделать, а коли больно много артачиться станут, ну, и еще погодят денек-другой. Главное тут дело характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут — шалишь! — по три пятака, дешевле не могли и думать. Покончивши это, и переспросишь их всех скопом:

— Каков, мол, такой-то Трифон Сидоров? мошенник?

— Мошенник, батюшка, что и говорить, мошенник!

— А ведь он лошадь-то у Мокея украл? он, ребята?

— Он, батюшка, он, должно.

— А грамотные из вас есть?

— Нет, батюшка, какая грамота!

Это говорят мужички повеселее: знают, что, значит, отпуск сейчас им будет.

— Ну, ступайте с богом да вперед будьте умнее.

И отпустишь через полчаса. Оно, конечно, дела немного, всего па несколько минут, да вы посудите, сколько тут вытерпишь: сутки двое-трое сложа руки сидишь, кислый хлеб жуешь... другой бы и жизнь-то всю проклял — ну, ничего таким манером и не добудет.»

Много было хороших дельцов в старое доброе время, — вот, например, городничего Фейера нельзя не похвалить: человек был знающий и к службе усердный.

«Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как собственно он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку совет.

По той единственной причине ему все его противоестественности с рук и сходили, что человек он был золотой. Напишут это из губернии — рыбу непременно к именинам надо, да такую, чтоб была рыба, кит не кит, а около того. Мечется Фейер как угорелый, мечется и день и другой — есть рыба, да все не такая, как надо: то с рыла вся в именинника вышла, скажут личность, то молók мало, то пером не выходит, величественности совсем не имеет. А у нас в губернии любят, чтоб каждая вещь в настоящем виде была.

Задумается Фейер да и засадит всех рыболовов в сибирку. Те чуть не плачут.

— Да помилуите, ваше благородие, где ж возьмешь этуку рыбу?

— Где? а в воде?

— В воде-то, знамо дело, что в воде; да где ее искать-то в воде?

— Ты рыболов? говори, рыболов ли ты?

— Рыболов-то я точно, что рыболов...

— А начальство знаешь?

— Как не знать начальства! завсегда знаем.

— Ну, следственно...

И являлась рыба, и такая именно, как быть следует, во всех статьях.

Прислан был к нам Фейер из другого города за отличие, потому что наш город торговый и на реке судоходной стоит. Перед ним был городничий старик, и такой слабый да добрый. Оседлали его здешние граждане. Вот приехал Фейер на городничество и сзывает всех заводчиков, а у нас их не мало — до пятидесяти штук в городе-то.

— Вы, мол, так и так, платили старику по десяти рублей, ну, а мне, говорит, этого мало: я, говорит, на десять рублей наплевать хотел, а надобно мне три беленьких с каждого хозяина.

Так куда тебе, и слушать не хотят.

— Видали мы-ста этих щелкоперов...

Он было вспыхнул.

— Ну, говорит, так не хотите по три беленьких?

— Пять рубликов, — кричат: — ни копейки больше.

— Ладно, говорит.

Через неделю глядь, что ни на есть к первому кожевному заводчику с обыском: «кожи-то, мол, у тебя краденые». Краденые не краденые, однако, откуда взялись и у кого купил, заводчик объяснить не мог.

— Ну, говорит: не давал трех беленьких давай пятьсот.

Тот был уж и в ноги, нельзя ли поменьше, так куда тебе, и слушать не хочет.

Отпустил его домой, да не одного, а с сотским. Принес заводчик деньги, да все думает, не будет ли милости, не согласится ли на двести рублей. Сосчитал Фейер деньги и положил их в карман.

— Ну, говорит, принеси остальные триста.

Опять кланяться стал купец, да нет, одеревенел человек, как одеревенел, твердит одно и то же. Попробовал, еще сотню принес, — и ту в карман положил, и опять:

— Остальные двести!

И не выпустил-таки из сибирки, доколе все сполна не заплатил.

Видят парни, что дело дрянь выходит: и каменьями-то ему в окна кидали, и ворота дегтем по ночам обмазывали, и собак цепных отравляли — неймет ничего! Раскаялись. Пришли с повинной, принесли по три беленьких, да не на того напали.

Нет, говорит: не дали, как сам просил, так не надо ж мне ничего, коли так.

Так и не взял: смекнул, видно, что по разноте-то складнее, нежели скопом.»

Мы не будем решать в точности, каковы литературные достоинства этого рассказа: надобно ли только назвать его недурным или положительно хорошим, или прекрасным, — для нас, вероятно и для публики, это второстепенный вопрос: главное то, что мемуары г. Щедрина интересны. Мы уверены, что публика наградит своим сочувствием автора за то, что он вздумал поделиться с нею своими записками о губернской жизни.

В том же номере «Русского вестника» есть другая статья,

также заслуживающая внимания и одобрения. Это — небольшая «Заметка», написанная г. Безобразовым «по поводу статьи г. члена Вольного экономического общества, статского советника Бланка: «Русский помещичий крестьянин».

Статья г. Бланка обнаруживает незнакомство автора с предметом, о котором взялся он судить очень смело. Незнание волекло его в важные ошибки; а так как «Труды» Вольного экономического общества, в которых напечатана его статья, расходятся в значительном числе экземпляров, и потому ошибочные понятия г. Бланка могли бы многих ввести в заблуждение, то г. Безобразов поступил прекрасно, предупредив своею «Заметкою» возможность недоумения относительно вопросов, слишком легкомысленно обсуживаемых г. Бланком. Возражения написаны с благородным негодованием на излишнюю решительность тех людей, которые без всяких знаний берутся судить и рядить о важных ученых и практических вопросах, да еще и вопиать против людей, которые, изучив предмет, смеют думать иначе. Еще больше возбуждает негодование г. Безобразова низкое понятие г. Бланка о русском народе (к которому принадлежат крестьяне).

Г. Бланк (говорит автор «Заметки») начинает свою статью выражением сожаления о *распространении иностранцами и за ними некоторыми русскими ложной идеи, будто невольничество или рабство одно и то же, что крепостное состояние...* В этом отношении мы можем совершенно успокоить автора: сколько нам известно, никто, сколько-нибудь знакомый с историей и значением названных понятий, ни в Западной Европе, ни в России, никогда не выражал подобной мысли и потому не занимался столь страшною в глазах автора пропагандою, точно так же, как никто не принимает за одно и то же мещанство и дворянство в России и буржуазию и феодальную аристократию в Европе. Если и были делаемы подобные сравнения, то только для уяснения различий в развитии и внутреннем строении общественных сословий у нас и на Западе. Притом же, указываемое автором заблуждение было бы, как мы увидим ниже, весьма странно, потому что крепостное состояние — явление вовсе не чуждое Западной Европе: оно было, хотя с несколькими отличиями от русского, у всех европейских народов. Автор говорит: «Это последнее учреждение (крепостное состояние), совершенно оригинальное, составляет исключительную собственность нашего отечества, не будучи вовсе похоже ни на состояние невольничества на Востоке и в английских и других колониях Азии, Африки и Америки, ни на рабство, бывшее в Римской империи и потом в прочих государствах Западной Европы.

Чтобы опровергнуть его суждения, основанные на одном совершенном незнании, г. Безобразов делает выписку из экономического словаря Коклена и Гильйомена. Отрывок этот в состоянии убедить каждого, что западные экономисты очень хорошо знают различие между рабством и крепостным состоянием, и так же осязательно показывает, что крепостное состояние существовало некогда во всех европейских государствах, стало быть, вовсе не есть явление, которое можно было бы (подобно г. Бланку) считать свойственным исключительно русской народности. Далее г. Бланк рассуждает о западных пролетариях, о смутах, которые

производятся этими пролетариями, о том, что крепостное право предохраняет нас от пролетариата. Г. Безобразов очень справедливо замечает на это:

Как ни убедительны слова автора, но с ними весьма трудно согласиться. Почему же, спросим мы его, нет у нас пролетариата не только в одном крепостном состоянии, но и во всех других, не только сельских, но и городских сословиях? почему же нет и тени его в звании всякого наименования государственных поселян, в звании обязанных, государственных крестьян, поселенных на собственных землях? Автор видит причину спасения нашего отечества от язвы пауперизма не там, где она действительно находится: эта причина в самом характере нашего общественного устройства и хозяйственного порядка, в самом способе владения землей, одинаково действующем посреди всех без изъятия званий сельских жителей в нашем народном быте, ограждающем и сельского и городского жителя, какого бы они ни были состояния, от безнадёжной нищеты и бездомства, и наконец (и это главное) в излишке земли против потребностей народонаселения. При всей нашей готовности верить в самое искреннее попечение наших помещиков о благосостоянии вверенных им крестьян, мы не думаем, чтобы, при других условиях, они были в силах его обеспечить. Не лишним также считаем мы, если не припомнить автору, то заметить здесь, что сельское население в Западной Европе далеко не принимало того участия в печальных экономических и политических событиях Западной Европы, как городское; напротив того, оно было всегда лучшим представителем охранительных элементов во всех государствах и только изредка и, так сказать, вследствие всеобщей заразы было затронуто пауперизмом и духом возмущения, гнездившимся преимущественно в городском рабочем классе.

Г. Бланк, пускаясь в исторические фантазии, воображает, будто бы крепостное право всегда существовало в русской земле; по своему незнанию, он смешивает немногочисленных холопов (дворовых служителей), существовавших в старину, с поселянами, которые не имеют с ними ничего общего и прикреплены к земле только уже в конце XVI века, всего каких-нибудь двести шестьдесят лет тому назад. Г. Безобразов выписками из статей г. Чичерина «О несвободных состояниях в России» снова обнаруживает грубость ошибки г. Бланка, очевидную, впрочем, для всякого, хотя в уездном училище учившегося русской истории по книжке г. Устрялова. «Заметка» оканчивается следующим образом:

До сих пор рассуждения автора статьи *Русский помещичий крестьянин* о разных выражениях из древнего русского права и быта, или, лучше, игра этими выражениями, были только игрою и могли вызвать только улыбку сожаления со стороны читателя о понапрасну истраченных досугах между сельскими занятиями; но как злоупотребление всякою игрою может повести иной раз к весьма печальным результатам, так и автор приходит после своего исторического очерка к заключению, которое, мы, по крайней мере, отказываемся называть шуткою, ибо убеждены, что такое заключение в руках людей опытных может сделаться далеко не шуткою. Вот оно, приводим его собственными словами автора:

«Итак, вот высокая идея связи власти с повиновением, основанной на взаимных выгодах, на заботливости о благосостоянии подчиненного лица и вместе с тем об исполнении им своего долга; твердыня, на которой создано помещичье и крепостное состояние в России, существующее тысячелетие;

человеколюбивейшая политика, обеспечивающая продовольствие народа на самой власти, им управляющей, на самых капиталах, заключающихся в земле, ими же обрабатываемой; патриархальный семейный союз, бессмысленно осуждаемый только эгоистами, желающими избавиться от священных обязательств, которые они имеют относительно рабочего класса, или людьми, не имеющими поземельной собственности или пренебрегающими ею или, наконец, слепыми подражателями и превозносителями некоторых западных идей, заслуживших, под блеском ложной филантропии, исторический патент разрушения, неустройцы, варварства, грабежей и разврата. Укажите хотя на одно учреждение в мире, с которого были бы сколком оригинальные учреждения России о кабальных и потом крепостных крестьянах, происшедшие из ее народной опытности и самобытности, естественные по ее местоположению и значению, как государства преимущественно земледельческого, как житницы Европы, — неизменно с усовершенствованиями пережившие и удельную систему, и вече, и владычество иноплеменных татар, и бедственные времена междоусобия, и все перемены, которым подвергалось древнее русское законодательство вообще».

После вышесделанных нами указаний на порядок прикрепления помещичьих крестьян к земле и выписок из исследований об образовании крепостного состояния в России, — как эти указания и выписки ни кратки, мы можем сказать уже автору: нет, крепостное состояние, окончательно утвержденное законодательством не ранее начала XVIII столетия, не твердыня могущества России, существующая тысячелетие, нет, не оно дало силы русскому народу выдержать и удельную систему, и иго татар, и многие другие поражения; это не учреждение, корнящееся в древнем русском патриархальном союзе, — нет! это государственная мера, необходимо вызванная потребностями государственного благоустройства в XVII веке, точно так же, как было сообразно с потребностями времени государственною мерою и прикрепление в средневековой России других сословий, бояр и служилых людей из вольных слуг, и как было государственною же мерою, сообразною с потребностями другого времени, наделение дворян, при Екатерине Великой, разными правами и преимуществами и дарование городскому сословию жалованной грамоты.

В остальной части своей статьи г. Бланк всеми силами превозносит ныне существующий у нас в помещичьих имениях порядок хозяйства и отношений землевладельцев к крестьянам. Многое бы хотели мы сказать, но воздерживаемся до другого раза. Говоря о русском крестьянине, автор не находит других слов для изображения естественных его наклонностей, как: леность, пьянство, разврат, воровство, бродяжничество, буйство, непокорность, своеволие и т. д. — не можем умолчать о том тяжком чувстве, которое оставила в нас эта характеристика. Как? Неужели вы не могли отыскать на вашей палитре, столь щедрой для описания печального положения западного пролетария, других, более успокоительных для глаз, красок, когда стали говорить о русском крестьянине? Но этот народ, вы сами же нам сказали, вынес на себе удельную систему, иго татар, бедствия междоусобия, и вынес на своих плечах; он вынес на них и много других тяжелых для нас испытаний; он же стоял на бастионах Севастополя; он же и теперь, с беспредельною покорностью перед своею судьбою, терпеливо возлагая свою участь на милость бога и царя, и твердо во всем на нее уповая, непоколебимо идет тою же своею серою полоской и с тем же невозмутимым спокойствием во дни славы, как и во дни бедствий России, тащит по родимой земле свою неуклюжую соху. Неужели нельзя было представить более утешительную картину жизни русского крестьянина и, вспоминая все то, чем он обязан помещику, можно было не вспомнить и всего того, чем мы ему обязаны? Но оплакивать судьбу людей, отстоящих от нас так далеко, как западный пролетарий, может быть, легче, этот плач не влечет за собою никаких практических последствий.

Наконец да позволено будет нам одно последнее размышление. Не

воспоминаниями о холопстве и кабале древней России и разрытием могил, давно заросших и новыми цветами и новыми терниями, может улучшить помещик быт вверенных его попечению крестьян и подвинуть собственное и их благосостояние. Нет! подобные воспоминания не только бесплодны, но могут быть даже вредны: ибо, смотря назад, мы не можем в то же время смотреть вперед.

В дополнение к статье г. Костомарова о древнем русском стихотворении «Горе-Злочастье» помещаем здесь заметку о том же предмете, написанную одним из наших ученых. Стихотворение, открытое г. Пыпиным, имеет особенную важность для истории нашей литературы именно потому, что представляется единственным образцом эпического рассказа из частного быта. Г. Буслаев, в своей статье о «Горе-Злочастьи», интересной потому, что в ней помещены многие отрывки из рукописи, не признает этого качества за стихотворением, которое было напечатано в нашем журнале. Вопрос важен для литературы, и во взгляде на него мы вполне согласны с мнениями г. Костомарова и автора следующей заметки.

Октябрь 1856 года.

Читатели знают из газет, что редакцию «Библиотеки для чтения» принял на себя г. Дружинин, и, конечно, разделяют нашу уверенность, что теперь русская литература будет иметь одним хорошим журналом более. Мы не сомневаемся в том, что новый редактор придаст новую жизнь старшему из наших литературных журналов: в том ручаются и известные достоинства г. Дружинина, как писателя, и независимое положение его в литературном кругу, и общее уважение, которым он пользуется от всех своих собратьев по литературе. «Современник» имел в г. Дружинине одного из постоянных своих сотрудников в течение всех десяти лет своего существования, и мы должны при настоящем случае выразить ему за то искреннюю признательность: справедливость требует признать, что г. Дружинину наш журнал обязан многим. Продолжительные и тесные отношения «Современника» с г. Дружининым уверяют нас, что он один из тех людей, которые наиболее способны оживить и возвысить во мнении публики журнал. Его обширная начитанность, его близкое знакомство с иностранными литературами, его тонкий вкус и верный такт, его неутомимая деятельность, — качества, столь драгоценные и столь редкие, — служат прочными ручательствами за то, что журнал, им управляемый, пойдет по прекрасной дороге. Многочисленные литературные связи г. Дружинина должны быть обеспечением за то, что отныне у «Библиотеки для чтения» не будет недостатка в материалах, достойных внимания и одобрения публики.

Программа, объясняющая, чем хочет и надеется быть «Би-

блиотека для чтения» под управлением нового редактора, написана с тактом, который производит самое выгодное впечатление, и в таком тоне, который внушает доверие к надеждам и обещаниям обновляющегося журнала. Журнал не отказывается от своего прошедшего, в первом периоде которого так много было блеска, но вполне признает необходимость принять существенные изменения, сообразно настоящему развитию нашей литературы. «Новые деятели нового литературного поколения (говорит обыватель), принимая на себя заботы о журнале, много лет считавшемся во главе всех современных ему русских периодических изданий, не могут держаться тех самых оснований, на которых «Библиотека для чтения» издавалась двадцать лет назад, в период наибольшего своего успеха. Воззрения изменились с тех пор, просвещение много двинулось вперед, журнальное дело приняло иной ход и иные условия, самый взгляд на литературу понес великие изменения; все эти обстоятельства не могут не обуславливать собой воззрений нозой редакции. Со всем тем, всякий журнал имеет свое прошлое, с которым никогда не следует разрывать литературной связи. Как ни изменились наши мнения о деятельности «Библиотеки для чтения» в первые годы ее основания, мы вполне сознаем, что журнал имел полное право на успех, имел свою физиономию, о которой не забудет новая его редакция. «Библиотека для чтения» была журналом истинно независимым от всех литературных партий, служила посредницей между русскими читателями и деятелями иностранных словесностей и отличалась не только разнобразием, но и общедоступностью статей, в ней помещавшихся. Этих самых оснований будет тщательно держаться новая редакция. Она озаботится полнотою всех отделов, обратит особенное внимание на нетронутые еще сокровища старой и новой иностранной словесности и станет стремиться к тому, чтобы каждая статья в журнале могла быть занимательною для каждого читателя. Критическая часть издания приобретет полную независимость, может быть, даже смелость, исходящую из этой самой независимости. Отделяясь от всех литературных партий, мы не ставим себя к ним во враждебное отношение. Глубоко сочувствуя всякой деятельности на пользу отечественного просвещения, мы не можем даже понять возможности мелкой полемики в нашем журнале. Как бы смелы мы ни были в наших отзывах, нам никогда не случится забыть, что мы спорим не с врагами, а с литературными товарищами, по разным дорогам идущими к одной и той же общей цели.»

Нельзя не признать, что программа эта написана с достоинством и прямою, с умеренностью и, вместе, твердостью. «Библиотека для чтения» будет отныне журналом с самостоятельными мнениями, эти мнения будут выражаться с благородною смелостью, чуждою мелочной придирчивости, но столь же чуждою и робкой шаткости. Читатели, знающие г. Дружинина, ко-

нечно, уверены в том, что это и не может быть иначе в журнале, им управляемом. «Библиотека для чтения» не будет оттоломом того или другого из остальных наших журналов, но не будет враждебна ни к одному из добросовестных мнений, хотя бы и не разделяла их; даже на тех из сотоварищей по литературе, мнения которых должна будет опровергать для проведения собственных убеждений, она будет смотреть не как на врагов, а как на товарищей по стремлению к общей цели, при всей разности в понятиях о достижении этой цели, — словом, она хочет иметь своим девизом «независимость и терпимость, твердость убеждений и доброжелательство». Какая программа может быть лучше и благороднее? — А тон объявления и имя нового редактора, повторяем, ручаются за неуклонное исполнение этой благородной программы¹.

Но какими же силами владеет в своих сотрудниках новая редакция «Библиотеки для чтения» для доставления своему журналу живости и разнообразия, для обеспечения его литературных и ученых достоинств? — Список новых участников*, приобретенных журналу новою редакциею, дает на это ответ совершенно удовлетворительный. Тут мы видим имена, принадлежащие людям самых различных литературных партий — ручательство за то, что журнал будет занимать среди их независимое положение, — и почти все эти имена пользуются более или менее выгодною известностью — ручательство за то, что в хороших статьях журнал не будет иметь недостатка.

Исчислив главных своих сотрудников и объяснив важнейшие улучшения, которые вводит в каждом отделе журнала, новая редакция «Библиотеки для чтения» заключает свою программу, обещая «деятельность честную и постоянную, и упорную», символом которой будет служить эпиграф всего издания, взятый из Гете: *Ohne Hast, ohne Rast* — «без отдыха, без торопливости». Можно и должно верить подобному обещанию такого писателя, как новый редактор «Библиотеки для чтения». Но он просит судить о тех улучшениях, которые даются «Библиотеке для чтения» его управлением, не по одним только обещаниям в будущем, но и по тем результатам, которые отчасти уже достигаются им в настоящем. Последние книжки «Библиотеки для чтения» за 1856 год, издаваемые новою редакциею, — говорит программа, — «дадут публике возможность судить как об улучшениях по журналу, так и о том литературном характере, от которого уже не будет уклоняться «Библиотека для чтения». — По окончании года, мы выскажем общее впечатление, которое произведет на нас обо-

* Оба редактора «Современника» почли своею обязанностью быть сотрудниками «Библиотеки для чтения», новый редактор которой приобрел великое право на их благодарность как прежним своим постоянным и в высшей степени полезным сотрудничеством, так и тем, что остается и теперь, попрежнему, постоянным сотрудником «Современника»².

зрение всех номеров, изданных новою редакциею, а теперь пока скажем, что первый из этих номеров, октябрьская книжка «Библиотеки для чтения», свидетельствует о деятельности новой редакции выгодным образом. Состав книжки очень разнообразен, многие статьи живы и интересны. Статья редактора о великом реформаторе Пруссии, друге императора Александра I, бароне Штейне, заслуживает особенного внимания. Из трех стихотворений г. Некрасова, напечатанных в этом номере «Библиотеки», мы позволяем себе выписать здесь одно:

ШКОЛЬНИК

Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
Эй, садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! Что за дело?
Это многих славных путь.

Видю я в котомке книжку —
Так, учиться ты идешь.
Знаю, батька на сынишку
Издержал последний грош.

Знаю, старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаек.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Так что ж
Случай тоже уж не новый:
Не робей, не пропадешь!

Скоро ты узнаешь в школе,
Как архангельский мужик,
По своей и божьей воле,
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете...
Кто-нибудь свезет в Москву:
Будешь в университете,
Сон свершится наяву!

Там уж попроще широко —
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, святая Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,

Что выводит средь народа
Столько славных через край.

Столько славных, благородных,
Сильных любящей душой
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой.

Мы уверены, что в следующем году «Библиотека для чтения» будет иметь в публике успех, заслуживаемый улучшениями, какие сообщаются этому журналу новою его редакциею, и вперед радуемся этому успеху. Но не все думают, подобно нам, что один журнал должен радоваться успехам других. У иных всякое улучшение в чужом журнале возбуждает чувство болезненного раздражения, совершенно напрасного. Вот, например, едва только мы объявили, что со следующего года гг. Григорович, Островский, Толстой и Тургенев будут помещать свои новые произведения исключительно в нашем журнале, как один из русских журналов воскипел величайшим негодованием и наполнился желчными выходками против нас и наших сотрудников. Эту роль угодно было принять на себя, к сожалению, «Отечественным запискам», — к сожалению, говорим мы, потому что, уважая прекрасное прошедшее этого журнала, мы не хотели бы видеть, чтобы он изменял своему достоинству и становился в положение, которого никто не одобрит.

Октябрьская книжка «Отечественных записок» посвящает «Современнику» несколько десятков страниц. Поход начинается длиннейшею филиппикою г. Галахова против одного из эпизодов статьи г. Лайбова о «Собеседнике любителей русского слова»; предполагая, вероятно, большие достоинства в этой филиппике, «Отечественные записки» поместили ее в отдел критики. Затем, в «Литературных и журнальных заметках» следуют выходки против шестой статьи «Очерков гоголевского периода», против объявления о том, что господа Григорович, Островский, Толстой и Тургенев с наступающего года будут помещать свои статьи исключительно в «Современнике», и наконец, вновь против статьи г. Лайбова. Словом, батареи гремят... Причина этого грома ясна. Но подумали ль «Отечественные записки» о том, какую роль они принимают на себя? Ведь они становятся относительно «Современника» в то самое положение, в каком некогда угодно было стоять «Северной пчеле» относительно «Отечественных записок». Объяснять ли свойство этой роли? Оно в старые годы было прекрасно объясняемо «Отечественными записками», когда они подвергались добросовестным нападениям правдолюбивой газеты за то, что были журналом, не похожим на журналы, издававшиеся издателями «Северной пчелы». Напомним «Отечественным запискам» их прежнее благородное время, их прежние справедливые и прекрасные слова. Они совершенно при-

лагаются к настоящему случаю; только — увы — то, что говорилось тогда «Отечественными записками» о «Северной пчеле», могло быть сказано ныне «Современником» об «Отечественных записках».

Сентябрь месяц — время подписки на журналы, время крика и тревог в известной стороне русской журналистики. Журналисты или газеты, для которых наука, искусство, литература — не более, как слова, сидящие в их программах, ждут не дождутся этого блаженного времени. Целый год чихнут они от недостатка пищи и только в это время начинают как будто оживать. Слышите ли, как они теперь начинают рассказывать всевозможные выдумки о журналах, которые, гордецы, и знать не хотят их; как уверяют, что те журналы, суду которых публика верит и на которые подписывается, никуда не годятся... Словом, в это время газеты воскресают и начинают заниматься тем, что на их языке называется *литературою* и что на обыкновенном языке называется *сплетнями*. Это факт замечательный: на него непременно должен обратить свое внимание будущий историк так называемой русской литературы, должен сообщить его всему образованному миру. «Русские журналы», — скажет он с горькою улыбкою, — «большею частью спят в продолжение года; они просыпаются только от сентября до декабря месяца и, проснувшись, начинают говорить о подписчиках, выдумывая друг на друга разные сплетни». За такое открытие будущему историку скажет спасибо Европа, в которой до сих пор не бывало и нет еще ничего подобного. Кто не знает, что везде есть журнальные споры, везде есть полемика, где только есть литература? Но эти споры имеют источником своим разногласие в ученых или литературных убеждениях двух сторон; от прений между этими сторонами выигрывает или наука, или общество; у нас же, — извините, — дело идет о предмете гораздо интереснейшем — о числе подписчиков чужого журнала, о чужих приходах и расходах...

На этом поприще с честью и славою всегда подвизалась «Северная пчела» преимущественно перед всеми другими русскими журналами. Ежегодно пробуждается она в сентябре месяце. К этому мы так же привыкли, как к ежедневной смене дня ночью, и, признаемся, начали уже удивляться, что в нынешнем году «Северная пчела» как будто изменила неизменному закону своего существования — молчала в то время, как почти все журналы объявили о подписке на будущий год; мы уже беспокоились о здоровье «Северной пчелы» и думали, что русская журналистика лишилась одного из своих родимых пятнышек, так резко обозначающих ее физиономию. Но опасения наши исчезли с появлением 207 номера (18 сентября) этой газеты. Нет, жива «Северная пчела»! опять воскресли ее объявления о подписке на журналы! 207 номер ее обогащает новым фактом рассказ будущего историка русской литературы, выясняя ему одну из самых занимательных торговых и нравственных сторон нашей журналистики.

Всем известны отношения «Северной пчелы» к «Отечественным запискам» всем известно, как еще до появления первой их книжки, «Северная пчела» в 25 статьях доказывала, что этот журнал (еще не появившийся) никуда не годится и умрет при самом своем начале. Известно также, как оправдались эти предсказания и как с тех пор «Северная пчела», всегда болящая чужим здоровьем, преимущественно страдала и страдает от цветущего здоровья «Отечественных записок». В продолжение трех лет она не переставала повторять, и прямо и косвенно, те же самые фразы, увещевая читателей, ради всего святого, не подписываться на «Отечественные записки», державшие так откровенно высказывать свое мнение о ней самой и о сочинениях ее издателей. Но представьте же непокорство этой своенравной публики: она с каждым годом, как бы на зло увещаниям «Северной пчелы», подписывалась на большее число экземпляров «Отечественных записок» и наконец простерла дерзость свою и охоту читать этот журнал до того, что «Отечественные записки» не только здраво и невинно просуществовали три года,

но объявили об издании на четвертый год, да еще и с новыми улучшениями («Отеч[ественные] зап[иски]», т. XVIII, «Библиографическая» хрон[ика], стр. 63—64).

Тут нужно только поставить на место «Отечественных записок» — «Современник», на место «Северной пчелы» — «Отечественные записки», на место «трех лет» и «объявления на четвертый год» — «десять лет» и «объявление на одиннадцатый год», на место «сентябрь» — «октябрь», — все остальные подробности не нуждаются ни в малейших изменениях, чтобы прямо применяться к настоящему случаю.

Но подобными нападениями тот ли достигается результат, который имеется в виду? Опять просим «Отечественные записки» припомнить, вред или пользу приносили им нападки «Северной пчелы». В былое время «Отечественные записки» хорошо понимали это. «Современник» приобрел честь служить единственным журналом, в котором будут помещать свои произведения четыре литератора, пользующиеся особенною любовью публики, — он гордится этою честью, он объявляет о том, он хочет, чтобы все читатели знали это, — что же делают «Отечественные записки»? начинают шумно толковать о том самом, что так приятно для «Современника». Спрашивается: во вред или в пользу «Современнику» послужит шум, поднимаемый «Отечественными записками»? Конечно, чем больше будут толковать о том, что гг. Григорович, Островский, Толстой и Тургенев будут со следующего года помещать свои произведения исключительно в «Современнике», тем большую услугу окажут нашему журналу. Бывало, точно такие же услуги оказывала «Северная пчела» «Отечественным запискам», и пусть «Отечественные записки» вспомнят, с каким чувством принимали они ее хлопоты о распространении их известности. Вот подлинные слова старых «Отечественных записок» об этом предмете. Каждая фраза, каждое слово этого прекрасного замечания вполне и буквально применяются к шуму, поднимаемому «Отечественными записками» о нашем журнале.

Вероятно, немногие из читателей подозревают истинные отношения «Северной пчелы» к «Отечественным запискам»: большая часть убеждена, что между обоими этими изданиями существует вражда непримиримая, ненависть заклятая. Так должно бы, казалось, заключать по наружности... Но, милостивые государи, наружность обманчива, особенно наружность журнальных перебранок, которых настоящее значение может быть объяснено только временем. Время мало-помалу объяснило и отношения наши к «Северной пчеле»; скрывать долее истину опасно, ибо дальнейшая мистификация может быть бесполезною: читатели сами скоро будут в состоянии обличить ее. Впрочем, прозорливейшие из них давно уже поняли, в чем дело, и давали нам это чувствовать: они видели, что «Северная пчела» всегда состояла по особым поручениям при «Отечественных записках» с самого начала издания этого журнала, и не только никогда не старалась вредить ему, но с неутомимым усердием распространяла его известность до отдаленнейших концов читающего мира. Было бы неблагодарностью с нашей стороны молчать об услугах и не изъявить этой газете признательности, — особенно теперь,

когда мы уже пользуемся этими услугами пять лет... Пять лет усердной службы — это, право, стоит награды, и вот, при окончании пятого года издания «Отечественных записок», долгом считаем принести «Северной пчеле» нашу искреннюю благодарность за все то, что сделано ею в течение этого времени в нашу пользу. А сделано ею многое, и очень многое. Вспомните: прежде еще, нежели мы успели объявить о намерении своем издавать журнал, «Северная пчела» предварила об этом публику несколькими статьями без всякой с нашей стороны просьбы и тем заинтересовала читателей увидеть поскорее новый журнал; после появления программы, она неутомимо хлопотала о том, чтобы все узнали эту программу, и каждый день твердила о ней каждому из своих читателей; по выходе первой книжки журнала, она тотчас напечатала оглавление статей ее, с разбором каждой из них, и потом начала еженедельно и ежедневно толковать об «Отечественных записках», и только об одних «Отечественных записках», как будто бы, кроме них, не было в России ни одного журнала. Такое постоянное обращение к одному и тому же изданию в продолжение целых месяцев и целых годов постоянно заинтересовывало публику, возбуждало в ней желание читать журнал... Словом, «Северная пчела» ни разу не изменяла своей обязанности в отношении к «Отечественным запискам» и делала в пользу их все, что только могла делать. Большого мы и не имели права от нее требовать. Постоянно пять лет была она на страже наших интересов и служила на пользу нашу верой и правдой, по крайнему своему разумению. Умудренная многолетним опытом, она знает, как важно для всякого журнала напоминать о нем публике в то именно время, когда он объявляет подписку на следующий год, когда он объясняет предполагаемые им улучшения; она понимает, что чем большее число читателей будет знать это, тем выгоднее для журнала, — и вот она усиливает свою деятельность осенью и, по выходе объявления о продолжении «Отечественных записок», толкует о них ежедневно однажды навсегда принятым тоном, хлопочет неутомимо о распространении подписки на этот журнал... Спасибо, и еще раз спасибо доброй газете! Так поступала она в продолжение пяти лет, так поступает до сих пор, и, мы уверены, не рассердится на нас за откровенное объяснение перед публикою настоящих ее к нам отношений. Мы, и без того уже, долго молчали о том; благодарность наша не в силах долее скрываться, и мы решились публично засвидетельствовать ее. Это, по нашему мнению, нисколько не должно уменьшить, а, напротив, увеличить усердие «Северной пчелы», которую мы убедительно просим и на этот раз не прекращать своих напоминаний об открывшейся теперь подписке на издание нашего журнала в 1844 году. Мы были бы в отчаянии, если б «Северная пчела» отложила от «Отечественных записок»: такой усердной помощницы не найти нам... Но нет! мы чувствуем, «Северная пчела» создана для услуг «Отечественным запискам»; изменить этому назначению — для нее значило бы умереть... («Отечественные записки», т. XXX, «Смесь», стр. 118—120.)

Удивительна точность, с какою все обстоятельства борьбы «Северной пчелы» против «Отечественных записок» повторялись и повторяются в борьбе «Отечественных записок» против нашего журнала. Все буквально сходно: как «Северная пчела», еще до появления первой книги «Отечественных записок», осыпала их бесцеремонными выходками, точно так же, в свою очередь, «Отечественные записки» еще до появления первой книги «Современника» уже восставали против начинающегося журнала*; как неутомимо хлопотала «Северная пчела» о распространении

* Смотр[и] «Сев[ерную] пчелу» за последнюю половину 1838 года и «Отеч[ественные] зап[иски]» за последнюю половину 1846 года.

известности «Отечественных записок» в течение пяти лет, так неутомимо «Отечественные записки» хлопочут уже десять лет о распространении известности «Современника», и с такою же пользою для нашего журнала. Верная служба их нам вдвое продолжительнее, потому мы имеем двойную обязанность выразить к «Отечественным запискам» ту же самую благодарность, какую они выражали некогда «Северной пчеле»:

Лестное внимание к нам со стороны «Северной пчелы» и верная долговременная служба ее «Отечественным запискам» трогают нас до глубины души, и мы, в конце года, обязанностью считаем свидетельствовать ей нашу искреннюю благодарность. Почти не бывает номера этой газеты, в котором не говорилось бы, прямо или косвенно, об «Отеч[ественных] записках». Будем надеяться, что в следующем году усердие «Северной пчелы» не ослабнет («Отечественные записки», т. XXXI, «Смесь», стр. 128).

Но — говорили в старину «Отечественные записки», несмотря на всю свою глубокую признательность к усердной служительнице — необходимо бывало иногда противоречить ей, потому что излишнее усердие ее к своему делу вовлекало ее иногда в ошибки, о которых невозможно было молчать:

Но как ни умеем мы чувствовать услуг, нам оказываемых, однако ж, дорого цenia истину, не можем иногда не поправлять ошибок, делаемых «Северною пчелою» в статьях об «Отечественных записках». В усердии своем к нашим пользам, эта добрая помощница наша иногда говорит больше, нежели сколько требует от нее ее обязанность, — а это может вводить публику в заблуждение. Наш долг — останавливать такое слепое усердие и вводить его в надлежащие границы.

Читатели знают, что мы давно — с начала нынешнего года, когда принуждены были посоветовать «Отечественным запискам» не продолжать удивительных статей г. В. Б. — ва о мнениях «Современника» (в чем «Отечественные записки» и послушались нашего совета) — не обнаруживали ни малейшей охоты рассуждать с «Отечественными записками», хотя этот журнал решительно в каждом номере делал несколько прямых или косвенных выходов против нашего журнала (как некогда «Северная пчела» против «Отечественных записок») ³. Читатели поверят нам, что мы не чувствуем особенного расположения к тому и в настоящее время. Точно таково было некогда расположение «Отечественных записок» относительно ответов на выходы «Северной пчелы».

Если мы когда-либо доходили до каких-нибудь объяснений (с ратниками «Сев[ерной] пчелы»), то не иначе, как отвечая на их выходы и придирки. И вот уже несколько месяцев, как в «Отеч[ественных] записках» совсем не появлялось такого рода объяснений, из чего, однако ж, отнюдь не должно заключать, чтобы им не на что и некому было отвечать, но что они не хотели только обращать внимания на немошные усилия своих почтенных доброжелателей. Подобная умеренность только еще более раздражала их, и они с большею настойчивостью напрашиваются на наше благосклонное внимание. Что делать? Надо на время отложить гордость в сторону: в жур-

нале, как и в обществе, не всегда можно говорить только с теми, чье собеседничество сообразно с вашим достоинством, но и с теми, которые не перестают заговаривать с вами, по неумению растолковать вашего молчания. Пусть будет так: *tu l'as voulu, tu l'as bien voulu, George Dandin!*. («Отечественные» зап[иски]», т. XXXVI, «Смесь», стр. 108.)

Все это теперь буквально применяется нами к «Отечественным запискам», и в особенности слова: *«Tu l'as voulu, tu l'as bien voulu, George Dandin»*⁴. Мы вовсе не хотели бы говорить, но «Отечественные записки» напрашиваются на ответ. Пусть они толковали бы, что «Современник» плохой журнал, что его не стоит читать, не стоит на него подписываться, — мы молчали бы, как молчали до сих пор и как теперь не считаем нужным отвечать на выходки «Отечественных записок» против «Очерков гоголевского периода».

«Очерки гоголевского периода» не подписаны фамилией автора, стало быть, только редакция «Современника» могла бы оскорбляться не совсем деликатными выражениями «Отечественных записок» об этих статьях, — а редакция «Современника» не может огорчаться упреками журнала, забывающего о приличии, особенно, когда знает причину его гнева (объясненную выше, при помощи старых ответов «Отечественных записок»). О нас пусть говорят «Отечественные записки» все, что им угодно; но «Отечественные записки» касаются не только нас, но и сотрудников, нами уважаемых. Этого мы не можем оставить без ответа. *Tu l'as voulu, George Dandin.*

Некоторые из наиболее уважаемых публикою литераторов согласились и обещались помещать свои статьи исключительно в «Современнике». Этою честью «Современник» должен гордиться: как ни толкуйте факт, с какой стороны ни смотрите на него, ничего вы в нем не найдете такого, что можно было бы осудить. В иностранных литературах мы найдем тому множество примеров. Из англичан, Маколей писал исключительно для «*Edinburgh Review*», Диккенс для «*Daily News*», Теккерей для «*Punch'a*»; из французов, Жорж Санд исключительно для «*Revue des deux Mondes*»; из немцев, Гейне исключительно для «*Allgemeine Zeitung*». Кажется, пять названных нами писателей составляют цвет европейской современной литературы, — кажется, нет из новых писателей во Франции, Англии, Германии еще никого, кто мог бы быть поставлен на ряду с ними, как по первоклассному таланту, так и по чистоте своих литературных отношений. Кажется, ясно: все знаменитости европейской литературы делали то же самое, что теперь намерены делать гг. Григорович, Островский, Толстой и Тургенев, т. е. входили с одним из периодических изданий своей родины в соглашение такого содержания, чтобы быть сотрудниками исключительно этого журнала. И что тут странного? Это необходимо вытекает из самой сущности их положения в литературе. Почему, например, Теккерей писал

исключительно в журнале «Punch»? между прочим, потому, что объявление о своем исключительном участии в этой газете было для него вернейшим средством избавиться от докучливости какого-нибудь «Blackwood's Magazine», издатель которого не давал ему ни минуты свободного отдыха неотступными просьбами об осчастливлении «Blackwood's Magazin'a» помещением своего рассказа, между тем, как Теккерей не питал особенной симпатии к «Blackwood's Magazin'u». Ясно ли, что Теккерей уже по одной этой причине было необходимо сделаться сотрудником исключительно «Punch'a»? — ведь каждый человек, писатель или не писатель, должен принимать меры для отвращения от себя неотступных просьб, нимало не приятных. Конечно, издатель «Blackwood's Magazin'a» чувствовал досаду на Теккерей за то, что этот знаменитый писатель избрал не его журнал, а другое периодическое издание для помещения своих трудов; но у Теккерей были на то очень основательные причины. Во-первых, «Blackwood's Magazine», некогда пользовавшийся уважением публики, потерял это уважение через то, что стал помещать слишком много дурных статей: что за охота Теккерей являться перед публикою в обществе какого-нибудь бездарного Броуна или обскуранта Блека, наполняющих ныне своими отделениями «Blackwood's Magazine»? Были и другие причины, отвращавшие Теккерей от «Blackwood's Magazin'a» и привлекавшие его к участию в «Punch'e». У Теккерей есть друзья — эти друзья помещают свои произведения в «Punch'e», и их (людей талантливых) беспощадно бранит и чернит «Blackwood's Magazine», выходя при этом за границы всякого литературного приличия и восхваляя различных бездарных своих сотрудников. Скажите, что за удовольствие Теккерей печатать свои произведения в журнале, который вовсе не литературным образом бранит его друзей, талантливых писателей, пользующихся уважением каждого порядочного человека в Англии? Были и другие причины, столь же уважительные. Например, Теккерей, как известно, друг просвещения, «Punch» защитник просвещения, а «Blackwood's Magazine» иногда сильно грешит в этом отношении, вероятно, сам не понимая того, но все-таки грешит против просвещения. Словом сказать, когда «Blackwood's Magazine» начал восставать против Теккерей за то, что этот писатель не помещает своих прекрасных рассказов в его журнале, то вся публика приняла сторону Теккерей, и «Blackwood's Magazine» скоро увидел, что лучше ему, «Blackwood's Magazin'u» молчать об этом деле. Этим, впрочем, история не кончилась: издатель «Blackwood's Magazin'a» человек опытный в литературно-коммерческих делах, хотя иногда увлекающийся своими гневными чувствами, но человек рассудительный. Он знает, что журналу всего более вредит то, когда он решается чернить писателей, уважаемых и любимых публикою, особенно, если публика досаждается, по каким со-

ображениям это происходит. Он понял, что за выходки против Теккерей публика лишит своего последнего доверия «Blackwood's Magazine», что он, «Blackwood's Magazine», сделал страшно невыгодную для себя ошибку, обнаружив свою досаду на Теккерей, что единственное средство исправить свой неловкий промах и заставить публику забыть оскорбления, несправедливо нанесенные ее любимому писателю, это начать, скрепя сердце, превозносить Теккерей больше, нежели когда-нибудь, — и через год после раздраженных выходов «Blackwood's Magazine» обратился в ревностнейшего поклонника прекрасных произведений Теккерей. Поступая таким образом, издатель «Blackwood's Magazine» доказал, что он человек с тактом: в самом деле, только люди, лишенные такта, не удерживаются от выражений своей досады тогда, когда эта досада может повредить им самим в общем мнении.

В русской литературе также часто бывали примеры, подобные тому, о котором идет речь. Например, когда основалась «Библиотека для чтения», многие из наших лучших литераторов (в том числе Пушкин) обещали свое сотрудничество исключительно этому журналу, и никто не мог видеть в том ничего, кроме хорошего. Но самые многочисленные примеры исключительного сотрудничества в одном журнале представляет история «Отечественных записок» в блестящее время их существования, о котором мы всегда вспоминаем с величайшим уважением. Кто имел право негодовать на Лермонтова за то, что он помещал свои произведения исключительно в «Отечественных записках»? Напротив, это исключительное сотрудничество Лермонтова приносило честь как великому поэту, так и г. Краевскому, редактору «Отечественных записок». Если такой писатель, как Лермонтов (думала публика, и думала справедливо), настолько уважает журнал г. Краевского, что хочет иметь дело исключительно с ним, это самым выгодным образом свидетельствует в пользу г. Краевского. С другой стороны, о характере Лермонтова свидетельствует самым выгодным образом то обстоятельство, что он печатает свои произведения в журнале г. Краевского, которого уважает, и не соглашается печатать их в «Северной пчеле». Точно так же исключительно в «Отечественных записках» печатали свои произведения другие лучшие наши литераторы тогдашнего времени, и «Отечественные записки», быть может, согласятся, что в таком обстоятельстве не было ничего предосудительного для литераторов, желавших быть исключительно сотрудниками этого журнала.

Довольно ли убедительны для «Отечественных записок» эти примеры и объяснения? Поймут ли «Отечественные записки», что они становятся в самое невыгодное положение, обнаруживая несправедливую досаду на писателей, согласившихся помещать свои произведения исключительно в «Современнике»? Поймут ли «Отечественные записки», что на факт столь простой и натураль-

ный, защищаемый примером всех знаменитостей европейской литературы и историею самих «Отечественных записок» в блестящее время их существования, невозможно нападать без того, чтобы нападающий не уронил себя в общем мнении?

Мы вовсе не имеем охоты продолжать этих объяснений, как не имели охоты и начинать их (по тем самым чувствам, которые некогда прекрасно были выражаемы «Отечественными записками» относительно «Северной пчелы»). Мы предоставляем «Отечественным запискам» полнейшую свободу говорить что угодно о нас самих, но одного мы не позволим делать безнаказанно: бросать неблагоприятную тень на тех писателей, которые делают честь нашему журналу помещением в нем своих произведений. Тут мы на каждый кривой намек будем отвечать фактом, на каждое объяснение — разъяснением дела, и не уступим ни шагу. Надеемся, положение дела таково, что общее мнение будет на нашей стороне, как было оно некогда на стороне «Отечественных записок» против «Северной пчелы».

Приводим выходку «Отечественных записок» против писателей, которые обещались помещать свои произведения исключительно в «Современнике». Пусть судит читатель, много ли в ней остроумия и правды.

Русский язык удивительно богат. Давно известно, что он совмещает в себе все превосходные качества других языков, что на нем можно выражать свои мысли о каких угодно предметах, начиная с самых возвышенных и оканчивая самыми низкими. Даже знаменитые стихи Пушкина, что

... гордый наш язык
К почтовой прозе не привык,

кажутся теперь анахронизмом. В русском языке — этом неисчерпаемом сокровище всевозможных слов и оборотов, легко отыщутся точные речения для замены речений иностранных, которых у нас много и которые, собственно говоря, нет надобности и переводить, потому что они понятны всем, мало-мальски грамотным людям.

Новейшее, если не последнее, доказательство неистощимого богатства нашего языка мы видим в объявлении «Об издании «Современника» в 1857 году («Московские ведомости», № 114). В нем, между прочим, сказано:

«Взаимный обмен мыслей, здесь (в «объявлении») изложенных, имел своим последствием обязательное соглашение между редакцією «Современника» и несколькими литераторами...»

«Обязательное соглашение!..» да что ж это иное, как не контракт? Двумя русскими словами заменено здесь одно иностранное, и не только заменено, но и определено в точности. Можно было, пожалуй, распространить это определение, как и распространяют его французы, говоря, что контракт — c'est une convention par laquelle une partie s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose, ou plus spécialement l'acte même qui forme la preuve littéraire de l'engagement contracté*, но какая в том надобность? Французы, по

* Это условие, по которому одна сторона обязуется сделать что-нибудь или не сделать чего-нибудь или, в более специальном смысле, самый акт, который составляет письменное доказательство заключенного соглашения. — *Ред.*

бедности языка своего, принуждены *bon gré mal gré** пускаться в длинные объяснения и перифразы. Богатый язык наш не имеет в том никакой надобности: он гордо произносит: *обязательное соглашение!* и каждый понимает, что это значит, хотя бы подле этих слов и не стояло в скобках слово *контракт*.

Какая милая светскость в этих французских фразах! «Отечественные записки» могут вспомнить, каковы были их суждения о подобных островах «Листка для светских людей»: этот несчастный журналец, на который некогда с таким справедливым состраданием смотрели «Отечественные записки», писался совершенно таким же языком и достоинство его юмора было совершенно таково же, как в строках, которыми начинается филиппика против «обязательного соглашения»⁵. Попробуем объяснить «Отечественным запискам», в чем они ошиблись, увлекшись несправедливою досадою.

Итак, продолжают «Отечеств[енные] зап[иски]», «заключен контракт между несколькими литераторами и редакторами «Современника» — это что-то неслыханное в нашей литературе». Если бы и действительно это было дело неслыханное, из того не следует еще, что это дело дурное, а только то, что это дело новое. Первая железная дорога, первая печатная книга — все это были дела неслыханные до того времени, и, однако же, дела очень хорошие. Но действительно ли взаимные обязательства между литераторами и журналистами новость в нашей литературе? Каждому известно, что вовсе не новость. Журналу всегда необходимо сотрудничество нескольких лиц; журнал всегда бывает делом общего труда, а общий труд невозможен без взаимных обязательств между лицами, его разделяющими. Кажется, все это просто и неоспоримо? Кажется, все это по собственному опыту известно каждому русскому литератору или журналисту с того времени, как существуют у нас порядочные журналы. А кому неизвестно, может узнать хотя бы из биографии Пушкина, приложенной к новому его изданию. Чему же дивятся «Отечественные записки», если некоторые из наших лучших литераторов вступили с «Современником» в такие отношения, в какие вступал Пушкин с одним из тогдашних журналов? Мы несколько раз перечитывали статью «Отечественных записок» и никак не могли найти в ней ясного выражений относительно предмета их удивления и жалобы. Все ограничивается какими-то смутными возгласами. Мы не удивляемся этой темноте: кто чувствует, что жалоба его неосновательна, досада несправедлива, всегда старается запутать и затемнить дело; но кто не смеет ясно выражать своей жалобы (чувствуя, что она неосновательна), должен быть не слишком щедр на упреки другим, особенно, когда эти другие заслужили общее уважение. Кто не только без всякого права оскорбляет тем-

* Волей-неволей. — Ред.

ными намеками людей, уважаемых обществом не только за их талант, но и за высокую безукоризненность их душевного благородства, тот подвергает себя опасности показаться обществу человеком другого рода.

Клевета пятнает в общем мнении не того, на кого клеветают, а того, кто клеветает.

Предоставляем нравственному чувству читателей судить о следующих выражениях «Отеч[ественных] записок».

К литератору преимущественно относится строгий приказ русской поговорки: «давши слово — держись». Он больше, чем кто-либо другой, обязан быть рабом своему слову. Он до того ему крепок, что в другой крепости или в другом рабстве не видит ни малейшей нужды. Давая слово, он вместе с ним кладет и честь свою, потому на каждое свое слово смотрит как на *parole d'honneur**. Поэтому «обязательное соглашение», в отношении к литераторам — странный плеоназм, бросающий грустную тень на обе обязывающиеся стороны. Разве соглашение или согласие, произнесенное просто-напросто голосом, то есть выраженное изустно, не есть своего рода обязательство? Чем же другим может быть оно в благородном звании литератора?

Пропускаем остроумную тираду о дружбе Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, которые не обязывали друг друга никакими контрактами — юмор этой тирады столь же хорош, как и начало статьи — но смысл ее непостижим здравому уму, — и читаем далее:

Предки наши, не знавшие ни иностранного слова «контракт», ни перевода его на русский язык «обязательное соглашение», говорили коротко и ясно: «кто изменит своему слову, тому да будет стыдно». Отчего мы не подражаем их достохвальному примеру? Неужели оттого, что — страшно даже вымолвить — мы потеряли стыд? — Или почтенная краска древнего стыда заменилась у нас невозмутимостью духа новейшей снисходительности, которая избрала своим девизом название комедии Островского: «Свои люди — сочтемся!»

Просим «Отеч[ественные] записки» вспомнить, о каких людях они говорят подобные вещи; просим этот журнал подумать о том, сообразно ли с здравым смыслом предполагать, что каждый порядочный человек в грамотной России не примет, как личное оскорбление себе, оскорбление, наносимое писателям, которыми гордится русская литература?

Мы говорим прямо:

«Отеч[ественные] записки» поступили неблагоприятно, дав свободный разгул досаде, возбужденной в них тем, что они лишились надежды иметь своими сотрудниками гг. Григоровича, Островского, Толстого и Тургенева.

* Честное слово. — Ред.

На темные намеки мы отвечаем указанием фактов, известных всем.

Если «Отеч[ественные] записки» будут продолжать свою неблагоразумную тактику, мы не отступим ни перед какими объяснениями; на каждый намек мы будем отвечать фактом — факты все говорят в пользу писателей, неблагоразумно оскорбляемых «Отеч[ественными] записками», и если этот журнал заставит нас сделать эти факты известными публике, то это обнародование не доставит особенной радости «Отечественным запискам». Мы советовали бы не подавать к тому нового случая. Пусть припомнят «Отечественные записки», какой удар нанесли они себе в 1846 году, неосторожно подняв шум о деле, вовсе для них невыгодном. Этот случай несомненно повторится, если «Отеч[ественные] записки» будут и в настоящем деле действовать так же неблагоразумно, как тогда.

Повторяем. Мы не желали начинать этих объяснений и не желаем продолжать их. Но мы не позволим безнаказанно оскорблять писателей, делающих честь нашему журналу помещением в нем своих произведений...

Вражда «Отечественных записок» к «Современнику» вводит их в ошибки, пагубные для них. Новое подтверждение тому представляет помещенная в октябрьской книжке статья г. Галахова «Были и небылицы», направленная против исследования г. Лайбова «О Собеседнике любителей русского слова» («Современник», 1856, № 8).

Не можем оставить без ответа этой страшно длинной выходки. Того требует правило, высказанное нами выше.

Статья г. Галахова имеет ученую наружность: она снабжена 153 цитатами, преимущественно из смирдинского издания «Сочинений императрицы Екатерины II» и «Сочинений Державина»*.

Теперь спросим: выиграл ли г. Галахов, вызвав нас на этот ответ? Не выиграла ли, напротив, статья г. Лайбова от его неудачных нападений, и какого результата достигли «Отечественные записки» помещением статьи г. Галахова?

Декабрь 1856 года.

Год, с которым готовимся мы проститься, принес много хорошего нашему отечеству. При самом начале его, благая воля государя подала нам надежду на мир, желаемый всею Европою, благотворный для нас; эта надежда не обманула нас, — и мир был заключен в самое благоприятное для примирения время, на условиях, самых выгодных. Мир, который должны благословлять

* Далее следует ответ Галахову, написанный Добролюбовым. (См. текстологический комментарий). — *Ред.*

мы все, снова открыл свободный путь нашей заграничной торговле, оживил промышленную деятельность внутри государства; восстановил наши сношения с другими образованными народами, наконец, что всего важнее, дал время и возможность к исправлению всего того, что нуждается в улучшении. Затем — торжество коронования и сопровождавший его милостивый манифест, — манифест, возвративший утраченные блага стольким людям, облегчивший массу народа трехлетнюю льготой от рекрутских наборов. За манифестом последовали преобразования и улучшения по многим отраслям национальной жизни и, — быть может, важнейшее из всех этих улучшений, — принятие мер к построению обширной сети железных дорог¹.

С оживлением всех отраслей национального нашего существования, и литература наша в оканчивающемся теперь году была живее, интереснее, богаче мыслями и замечательными явлениями, нежели когда-нибудь. Все слухи, доходившие до литературного нашего мира из провинций, были согласны в том, что на всех концах России литературный интерес пробудился в замечательной степени. Повсюду в публике были толки и прения по поводу той или другой повести, того или другого стихотворения, той или другой журнальной статьи. Так оживилось сочувствие к литературе в провинциях. То же было и в столицах, — это каждый литератор знает по опыту.

Всякая живая мысль, всякое дельное слово принималось публикою с горячим одобрением; эта симпатия должна была действовать на литературу, — и, действительно, литература старалась оправдать требования и надежды публики; с справедливою гордостью может она сказать, что в истекающем году была, хотя до некоторой степени, достойна ее внимания.

В начале года, она обогатилась двумя новыми журналами, из которых каждый имеет свою несомненную важность, и каждый приносит большую пользу нашему умственному развитию, — один положительным образом, другой, быть может, почти только отрицательным — возбуждая к беспристрастнейшему исследованию затрогиваемых им вопросов — но все же приносит пользу и этот второй. Читатели видят, что мы говорим о «Русском вестнике» и о «Русской беседе».

Различны были ожидания, возбужденные тем и другим, — и, надобно сказать, в значительной степени эти ожидания были обмануты, — одним журналом к лучшему, другим — не так, что-бы оттого увеличился его интерес.

Литературно-ученые мнения редакции «Русского вестника» и писателей, которых ожидали видеть главными его сотрудниками, были хорошо известны по их деятельности в других журналах, до основания «Русского вестника»; мнения эти не могли иметь интереса новизны. Никто не сомневался в том, что «Русский вестник» будет журналом почтенным, все были уверены, что он даст много

хороших статей, особенно статей ученого содержания; сотрудничество многих профессоров Московского университета, который столь справедливо считается средоточием ученой жизни в России и бывшие питомцы которого так справедливо сохраняют на всю жизнь любовь к нему, — это сотрудничество повсюду возбуждало самое горячее участие к новому журналу. Надежды на него были, как видим, довольно велики. Но слышались от многих и предположения, до некоторой степени ослаблявшие нетерпеливость ожиданий, — теперь, когда эти предположения прекрасно опровергнуты журналом, мы не находим нужды умалчивать о них. От многих можно было слышать мнение, что «Русский вестник» не будет иметь самобытного, только ему принадлежащего характера, что он будет двойником того или иного из тех журналов, которые прежде имели его редактора и главных сотрудников своими сотрудниками. Некоторые прибавляли, что новый журнал, быть может, не избежит сухости. Мы с самого начала не считали справедливыми этих предположений и потому приветствовали появление «Русского вестника» с полной уверенностью, что он докажет неосновательность сомнений. И, действительно, ему удалось достичь того. Нет надобности говорить, как определился характер «Русского вестника»: основные черты его физиономии достаточно ясны для каждого. Благодаря своему характеру, он утвердил за собою общее сочувствие. Столь же удачно, как бесцветности, он умел избежать и сухости, так что принадлежит теперь к числу не только наиболее распространенных в публике, но и наиболее читаемых журналов.

Мы хотели бы подробнее и точнее характеризовать физиономию «Русского вестника», но тут пришлось бы, конечно, нам не оставаться при одних похвалах, а указать также и некоторые стороны, которые нуждаются в улучшении и, без сомнения, будут улучшены, — эти замечания были бы немногочисленны, но все-таки их нельзя было бы совершенно устранить при полной характеристике журнала, — но после странной и совершенно несправедливой выходки против «Современника», которую угодно было сделать «Русскому вестнику» в прошедшем месяце, мы не хотим делать и этих немногих замечаний, не желая, чтоб кто-нибудь мог истолковать их в неприязненном смысле². Потому, отказываясь на этот раз от суждения о том, чем наиболее и чем менее силен «Русский вестник», скажем только, что вообще этот журнал пользуется общим уважением совершенно справедливо и значительно содействовал оживлению нашей литературы в прошедшем году.

«Русский вестник» в некоторых отношениях превзошел ожидания, с которыми был встречен, хотя эти ожидания были велики. «Русская беседа» до сих пор не успела дать публике того, что все надеялись найти в ней. Около десяти лет, славянофилы не имели своего органа в литературе; естественно было думать, что новый журнал их скажет после долгого безмолвия что-нибудь замеча-

тельное. Приверженцы славянофильских мнений в публике немногочисленны; большинство и не готовилось сочувствовать «Русской беседе». Но все интересовались новым журналом: вероятно, десять лет прошли не бесплодно для славянофилов, как не бесплодно прошли они для развития всей нашей литературы; прежде славянофилы не могли сами себе объяснить, чего именно они хотят, что они думают; их доктрина страдала неопределенностью, непоследовательностью. Теперь, вероятно, она определилась, стала понятнее для ума человеческого, если не стала справедливее. Любопытно послушать, что такое они скажут. Так говорят все. Некоторые, в том числе и мы, имели ожидания более благоприятные.

Не знаем, со времен фонвизинского Иванушки существовали ли на Руси люди, которым все в Западной Европе было бы восхитительно, которые воображали бы, что французский язык — единственный порядочный язык на свете, что на Западе все люди счастливы, что на Западе нет многого дурного и отвратительного. В наше время из людей сколько-нибудь образованных нет ни одного, который бы считал Западную Европу земным раем. Истинно образованный русский (точно так же, как истинно образованный француз, немец и так далее) видит в Европе очень много хорошего, но с тем вместе и очень много дурного. Мы осмеливались полагать, что образованные люди везде сходятся в своих понятиях о дурном и хорошем. Мы полагали, одним словом, что разница между славянофилами и людьми, не разделяющими их мнений, может существовать только в том, что последние смотрят на вещи беспристрастнее, что последние менее преувеличивают свое доброе, менее обманываются относительно своих недостатков. Но мы никак не полагали, чтобы кто-нибудь из образованных людей находил дурное хорошим или наоборот. Потому мы полагали, что когда славянофилы будут осуждать Западную Европу, можно будет сказать «вы преувеличиваете истину, но если отбросить преувеличения, в ваших словах найдется очень много правды»; что таково же будет отношение их мнений о России к беспристрастным мнениям. Словом, мы надеялись, что с ними можно будет во многом соглашаться, во многом другом противореча им. Многие смеялись над нашею надеждою.

Признаемся, до сих пор «Русская беседа» не успела доказать, что те, которые смеялись над нашею надеждою, были неправы.

До сих пор «Русская беседа» не сказала еще ничего такого, с чем бы можно было согласиться, хотя отчасти. Нельзя с нею ни в чем согласиться не потому, чтобы она исключительно говорила мысли, из которых каждая сама по себе несправедлива, — нет, в самой неосновательной доктрине, если только она достигла некоторой ясности и связности, всегда можно открыть что-нибудь похожее на правду, можно найти хотя незначительную часть истины, с которой можно согласиться.

Но в «Русской беседе» мы до сих пор не могли найти ничего такого, с чем бы можно было согласиться, потому что не могли найти ровно ничего сколько-нибудь ясного.

Как же? Ведь они много говорят о многих важных вопросах? Но что говорят! — самые разнородные понятия у них смешиваются в одно, самые противоположные явления сливаются в одно представление. Например: «наука должна искать истину и доказать справедливость тех убеждений, которыми мы дорожим» — какое же тут понятие о науке? Скажите что-нибудь одно; скажите: «наука должна искать истину» — с вами надобно будет безусловно согласиться; или, пожалуй, скажите: «наука должна доказать справедливость убеждений, которыми мы дорожим» — это понятие будет ошибочно, но все-таки в нем будет какой-нибудь смысл, можно будет видеть, что вам нужна не наука, а защита всего, что вам нравится; но если вы рядом ставите обе фразы: «наука должна искать истину и доказать справедливость убеждений, которыми мы дорожим», — если вы так говорите, можно ли понять, что вы разумеете под наукою? точно ли науку, или защиту того, что вам нравится?

Та же самая история повторяется до сих пор во всем, о чем бы ни заговорили славянофилы: возьмите какое угодно понятие из тех, которые особенно часто повторяются ими, и попробуйте разгадать, что они под ним разумеют, — вы увидите, что вечно соединяют они под ним два совершенно различные представления.

Потому интерес, с которым ожидалось появление «Русской беседы», совершенно исчез. Она перестала обращать на себя внимание.

Кроме «Русского вестника» и «Русской беседы», мы должны упомянуть еще о третьем новом журнале — «Сыне отечества»³. «Сын отечества» своим литературным отделом отчасти походит на то, чем была «Библиотека для чтения» в последние годы. Зато «Библиотека для чтения» под конец года совершенно обновилась и, без всякого сомнения, будет занимать в литературе более видное место, нежели какое занимала в последние пятнадцать лет.

Все вообще журналы наши, старые и новые, в этом году имели более жизни, нежели прежде. Поэзия, беллетристика, отделы серьезного содержания представляли много замечательного, довольно много представили даже блестящих явлений.

В этом году мы читали четыре произведения г. Тургенева: повести «Рудин», «Переписка» и «Фауст» и пьесу «Завтрак у предводителя».

Роман г. Григоровича «Переселенцы» и повесть его «Пахарь». «Севастополь в августе месяце», «Двух гусаров» и «Метель» графа Толстого.

Можно припомнить еще несколько повестей или рассказов, не лишенных достоинств. Из них одобрение всех читателей заслужили «Губернские очерки» г. Щедрина.

Мы не будем здесь делать оценку того или другого из этих произведений в отдельности; скажем только, что общий баланс нашей беллетристики за этот год, сравнительно с предыдущими, очень удовлетворителен.

«Оды Горация», переведенные г. Фетом, «Герман и Доротея» Гете, в его же переводе, «Фауст», переведенный г. Струговщиковым, наконец, «Лир», переведенный г. Дружининым (в этой книжке «Современника»), — все это было помещено в наших журналах за нынешний год.

Но всего заметнее оживление русской литературы отразилось на ученых и критических статьях. Тут прежде всего должны мы назвать превосходный этюд о нравах русского общества, написанный г. Павловым по поводу комедии графа Соллогуба «Чиновник». Потом заметим статьи г. Чичерина, — имени нового, но уже всем очень хорошо знакомого в нашей литературе, и статью г. Костомарова об истории Малороссии до Богдана Хмельницкого⁴.

Но не столько отрадны достоинства нескольких отдельных статей, сколько разнообразие и интерес, которым вообще отличался ученый отдел наших журналов. Мы не ошибемся, если скажем, что наша молодая литература обнаруживает решительное стремление к сближению с жизнью.

В пример, укажем два-три вопроса, близкие к жизни, из тех, которые занимали журналистику в нынешнем году.

В самом начале нынешнего года, привлек на себя общее внимание вопрос о железных дорогах. Из журналов он перешел в газеты, и до сих пор часто встречается в той или другой из них статья по этому делу. Люди, совершенно чуждые обыкновенного литературного кружка, принимали участие в прении: видно было, что вопрос живо затрагивал каждого, так или иначе, и каждый спешил высказать свое мнение, принести новый довод в пользу мысли, кажущейся ему справедливою, или новое опровержение мысли, которую считал ошибочною. Нельзя было без особенного участия следить за этим всесторонним обсуждением дела, важного для общества. Конечно, много было выражено тут мнений, происходивших единственно от непривычки нашей думать о политико-экономических вопросах; многие голоса возвышались совершенно понапрасну, не имея сказать ничего дельного; но вообще прение было ведено наставительно и довольно глубоко. Спорили и о том, до какой степени нужны нам железные дороги, еще больше о том, какой доход могут они приносить у нас в вознаграждение затраченного капитала, и о том, какими капиталами надобно строить их, русскими или иностранными, и о том, каково должно быть направление линий, наиболее необходимых. Следствием прений было разъяснение многих недоразумений, распространение здравых понятий о деле железных дорог и настоятельной необходимости, при недостатке русских капиталов, допустить в замену их иностранные. Теперь из людей, читающих что-

нибудь, вы очень мало найдете таких, которые не приготовлены к принятию истинного решения вопроса, задуманного правительством.

Несколько позднее начался в журналах и газетах спор о преимуществах высокого или низкого тарифа. Он был иными, особенно из противников низкого тарифа, веден с раздражением, напрасным с ученой точки зрения, быть может, свидетельствовавшим о непривычке нашей к ведению прений, но с тем вместе свидетельствовавшим о близкой связи этого вопроса с жизненными интересами нашего общества.

Упомянем еще о прениях по вопросу относительно воспитания. Они были вызваны предложением «Морского сборника», подавшего тем прекрасный пример признания пользы, какую может принести всестороннее обсуждение затруднительных вопросов. Много раз мы ставили «Морской сборник» образцом для всех подобных ему журналов, и теперь скажем, что он продолжает приобретать все больше и больше права на признательность русской публики энергическим исканием чистой истины.

Появление «Русской беседы» заставило некоторых обратиться к исследованию вопроса о народности в науке. Большинство публики, совершенно соглашаясь с справедливостью понятия, что наука должна искать общечеловеческой истины, а не оправдания местных и временных односторонностей, находило, однако же, что туманные мечты о какой-то особенной народности в науке, не имея ровно никакого положительного содержания, едва ли заслуживали того, чтобы и заниматься их опровержением. Тем не менее, некоторые из статей, написанных по поводу «Русской беседы», в доказательство того, что наука не должна иметь ничего общего с случайными пристрастиями и предубеждениями, обращали на себя внимание замечательными достоинствами.

Опытом из нынешнего года подтверждается истина очень известная, но не многими понимаемая во всем ее значении: развитие литературы находится в самой тесной связи с усилением умственной жизни в обществе.

Мы указали только немногие из тех вопросов, которые были подняты и более или менее основательно исследованы нашими журналами в течение нынешнего года; многие другие, или не столь важные, или не довольно обсужденные, не попали в этот краткий перечень главных предметов умственного движения, находивших себе отголосок в наших журналах за настоящий год. Но и эти немногие воспоминания могут уже быть доказательством, что пробуждение интереса в публике к нашим периодическим изданиям было не случайно: оно зависело от пробуждения в обществе умственной деятельности.